ПЕПЕЛЬНЫЙ ВАЛЬС



ЛЕНОР ЭМБЕРЛИ

18+

Ленор Эмберли
Пепельный вальс

https://litres.ru/74910497
SelfPub; 2026

Аннотация

Девяносто три года подряд наследник Дома Пепла открывает Сезон одним и тем же унижением: идёт через королевский бальный зал и приглашает на первый вальс даму, которая обязана ему отказать. Весь свет съезжается посмотреть на это покаяние.

В этом году отказать должна Селестина Лисль, первая невеста Сезона. Но в решающую минуту Селестина уходит, и на её месте оказывается кузина Рен — бедная родственница с даром, который годится разве что для прислуги.

Рен говорит «да».

Её «да» будит забытую оговорку древнего договора Домов: если дочь Великого Дома по доброй воле примет руку Пепла, покаяние может быть снято. У лорда Сайласа Эшгрейва шесть недель и один бал, чтобы это доказать. Шесть недель в замке, где иней растёт на окнах изнутри, а прислуга мертва уже двенадцать лет, рядом с человеком, о котором весь город шепчет, что он сжёг собственную семью.

В их брачном договоре одно правило: никакой лжи. Первым его нарушил он.

Содержание

Прежде чем начать	4
Глава первая	5
Глава вторая	14
Глава третья	27
Глава четвёртая	36
Глава пятая	44
Глава шестая	50
Глава седьмая	62
Глава восьмая	76
Глава девятая	95
Конец ознакомительного фрагмента.	111

Ленор Эмберли
Пепельный вальс

Прежде чем начать

«Пепельный вальс» — готический роман для взрослых читательниц. В книге есть откровенные сцены между взрослыми по взаимному согласию; насилие, в том числе бой с гибелью людей; смерть ребёнка в прошлом; огонь и травма пожара; кровь и вампиры; горе утраты.

Если что-то из этого для вас тяжело, берегите себя при чтении.

Глава первая

Рен

— Нет, милорд.

Селестина сказала это зеркалу и чуть повернула голову к свечам, выбирая, с какой стороны она красивее.

— Нет, милорд, — повторила она ниже и медленнее.

Потом с улыбкой, потом небрежно, через плечо, даже не обернувшись. Я стояла за её спиной и закалывала ей волосы, шпилька за шпилькой. «Нет» прозвучало уже девять раз.

Для девушки, которой всё равно, она репетировала слишком долго.

Селестину Лисль в этот Сезон называли первой невестой Сейнмора. Светлые волосы, уложенные так гладко, будто их отлили. Глаза того синего цвета, какой бывает у моря в ясный день под северными скалами. Кожа без единой веснушки. Веснушки были у меня — я прятала их под её старой пудрой, и к полудню они всё равно проступали. Я была на голову ниже кузины, с каштановыми волосами, которые не держались ни в одной причёске дольше часа, и в платье, перешитом из её прошлогоднего.

В Вальмере магия передаётся по крови, и у каждого Великого Дома своя стихия. Лисли — Дом Воды. Сильные маги Воды водят флоты против ветра и держат в узде приливы. Те, что послабее, по крайней мере не мокнут под дождём. У

Селестины дар был хороший: уложи ей волосы как следует, и до утра они не шелохнутся. Поэтому укладывать их нужно было как следует. Мой дар умел только одно: не трогая белья, сказать, какая простыня в ряду на верёвке ещё сырая.

Великими Домами в Вальмере зовут Воду, Землю и Воздух. Есть ещё Дом Крови — вампиры; голоса в Совете у них нет, и вслух о них говорят мало. И есть Пепел, о котором говорят только шёпотом.

— Ну как? — спросила Селестина у зеркала.

Спрашивала она зеркало, а не меня, и я промолчала: моего мнения в этом доме не спрашивали никогда.

— Рен. — Она всё-таки поймала мой взгляд в стекле. — Ты бы как сказала?

— Меня не спросят, кузина.

— Вот именно, — сказала она и наклонила голову, чтобы мне было удобнее.

Дверь открылась без стука.

Так в этом доме входила только одна женщина. С ней в комнату потянуло холодной сыростью, как от реки на рассвете, такой, что пробирает до костей. Свечи не дрогнули — дрогнула Селестина: плечи у неё чуть поднялись и застыли.

Леди Изольда Лисль, глава Дома Воды, была высокой и прямой. Тёмные волосы гладко убраны назад, и от левого виска — одна серебряная прядь, которую она никогда не прятала. Лицо красивое и неподвижное, словно на нём ничего не происходило без её разрешения. Глаза светло-серые,

цвета воды под пасмурным небом. Платье тёмно-синее, почти чёрное при свечах, без единой лишней складки. В руке — бокал вина.

Вино в бокале не колыхалось. Она шла через комнату, а оно стояло в стекле ровно, как в стакане на столе.

— Ещё раз, — сказала она.

Селестина повернулась к ней от зеркала.

— Нет, милорд.

— Так говорят мальчику, который пролил на тебя пунш. — Изольда не повысила голоса. Ей не нужно было: в этом доме и так слышали каждое её слово. — Завтра ты скажешь это Пеплу. При короле, при Совете, при всех. Весь свет будет смотреть, как Вода ставит его на место. Скажешь неуверенно — к утру весь Сейнмор решит, что Вода дрогнула, и половина союзов этого Сезона уйдёт к Земле. Ещё раз.

— Нет, милорд, — сказала Селестина.

На этот раз вышло тише и холоднее. Мне от этого «нет» захотелось отступить на шаг, хотя оно было не мне.

— Лучше, — сказала Изольда.

Она повернулась к двери, и взгляд её задел меня — так задевают стул, который поставили не на своё место.

— Ты… Рут?

— Рен, миледи.

— Рен. — Она произнесла моё имя так, будто решала, стоит ли его запоминать. — Проследи, чтобы перчатки завтра были при ней.

Она вышла. Сырость ушла за ней не сразу.

Селестина ещё несколько секунд смотрела на закрытую дверь, потом отвернулась к зеркалу.

— Нет, милорд, — сказала она. Двенадцатый раз.

* * *

В столицу я приехала за два дня до этого, в обозе с её сундуками, впервые в жизни.

Летом Селестина жила в загородной усадьбе Лислей к северу от столицы, и там я прислуживала ей с детства: держала зонтик, подшивала подолы, знала, в каком ящике лежат её ленты, раньше неё самой. На Сезон меня вызвали в главный дом запиской в две строки. Вторая строка была про сундуки.

Сейнмор стоит там, где река впадает в море. Внизу, у портов, кричат чайки и грузчики, пахнет смолой и рыбой. Наверху, на холмах, стоят дворцы Великих Домов, и выше всех — королевский. Ближе всех к нему — дворец Лислей: серебро и синий, синий и серебро, фонтаны на каждой лестнице. Вода в них не замерзает даже в ноябре. Когда обоз поднимался к воротам, я сидела на самом крепком сундуке, задрав голову, и смотрела на этот дом, пока не заболела шея. Я никогда не видела столько мрамора, стекла и света в одном месте.

Сезон — это шесть недель, ради которых высший свет каждый год съезжается в столицу. Открывает его Королевский бал в конце ноября, закрывает — бал Самой Длинной Ночи, а между ними весь Сейнмор танцует, сватается и за-

ключает союзы. Если в день открытия идёт первый снег, Сезон, говорят, будет удачным. Бал был на носу, и Дом Воды гудел. Портнихи бегали по лестницам с булавками во рту, лакеи носили списки кавалеров, в каждом коридоре шептались.

Кто я в этом доме — вопрос, на который у Лислей есть два ответа. По крови я своя: мой покойный отец был Лисль, дальний и бедный, и служил приказчиком Дома на северном побережье. А по сути я подавала шпильки. Спала в каморке при гардеробной, между зимними накидками и летними, а ела на кухне, после того как отобедают господа и их горничные.

Меня это не обижало: я так жила десять лет. Мечтала я о другом — о своей комнате, пусть величиной с кровать, но с дверью, которую можно запереть изнутри и знать, что до утра никто не позовёт. Я копила на неё годами, по медяку, в чулке на дне сундука, и накопила пока на половину двери.

* * *

В первый же вечер в столице я узнала на кухне, кому Селестина скажет своё «нет».

Я сидела в углу над остывшей похлёбкой. Поварята у печи перекидывались считалкой, которую на побережье поют малышне:

— Пепел, пепел, где огонь? Тронешь — пальцы обожжёшь, не тронешь — пропадёшь!

Повариха шлёпнула ближайшего полотенцем, и они

смолкли. Рядом со мной на лавку плюхнулась девушка с горячими булками.

— Держи. Похлёбка у них к этому часу уже клей. Ты новенькая? Седьмая вода на киселе? Я восьмая. Пиппа.

Пиппа была Лисль того же сорта, что и я, — дальняя, бедная и полезная: вторая компаньонка Селестины. Рыжая коса, круглые щёки и талант, за который в других домах платили бы жалованье. Она знала всё про всех и выкладывала это, как карты на стол.

Считалку я знала: на побережье её поют все дети. Про Эшгрейвов я знала то же, что все: когда-то давно Дом Огня поднял восстание и проиграл, и победители в насмешку переименовали его в Пепел. У них отняли земли и запретили колдовать огнём при людях.

— А в этом году очередь наша, — сказала Пиппа. — Совет назначил Селестину. Неделю как объявили.

— Назначил на что?

— Отказывать. — Пиппа понизила голос, хотя слушала вся кухня. — На открытии Сезона наследник Пепла проходит через весь зал, глаза в пол, находит даму в серых перчатках — их ей присылает Совет — и приглашает на первый вальс. А она при всех говорит «нет». Это покаяние, девяносто три года подряд. Весь свет приходит ради этого. И ни одна ещё не сказала «да». — Она произнесла это так, как говорят, что зимой идёт снег. — Говорят, на случай «да» в Конкорде что-то написано — это мирный договор, после восста-

ния, — только что там написано, толком никто не знает. Ему отказывают каждый год. В этот раз будет двенадцатый.

Повариха у печи вздохнула:

— Бедный мальчик.

— Не бедный, — сказала Пиппа. — Страшный. Говорят, рядом с ним свечи гаснут.

— И живёт один в своём горелом замке, — добавила повариха, помешивая в котле. — Прислуживают ему, говорят, покойники.

— Это уж сказки, — сказала Пиппа, но булку доела молча.

* * *

Накануне бала, после той самой репетиции, привезли бальное платье.

Шёлк был бледно-голубой, как вода на рассвете, с серебряной нитью, и модистка раскрыла картонку бережно, кончиками пальцев. Селестина вышла из-за ширмы и протянула руку, не глядя: подай. Я взяла шёлк в руки.

И сразу почувствовала: снаружи он был сухой, а внутри, в глубине складок, сидел тяжёлый холод — как у белья, которое сняли с верёвки раньше времени.

— Он сырой, кузина.

Модистка поджала губы.

— Шёлк сухой, мисс.

— Снаружи. — Я провела ладонью по сгибу. — В повозке подтекло. Если надеть так, к полуночи на подоле пойдут пятна.

— Дар как раз для прислуги, — фыркнула Селестина.

Модистка засмеялась. Никто не стал спорить. Спорить было не о чем: настоящие дары Дома Воды водят флоты, а мой годился для прачечной. В доме, где от силы дара зависит, за кого тебя выдадут, это означало, что меня не выдадут ни за кого.

Селестина подержала край шёлка в пальцах.

— Пусть высушат, — сказала она модистке. — К утру.

Платье унесли сушить.

* * *

Карету Пепла я увидела в тот же день. В сумерках я выбивала на заднем балконе накидку Селестины и смотрела вниз, на дорогу к порту. По ней поднималась чёрная карета — без герба, без фонарей, кучер в ливрее без цветов Дома. Уличные фонари вдоль дороги тускнели, когда она проезжала мимо, один за другим, и снова разгорались позади неё. Внизу оборачивались прохожие.

— Пепел приехал, — сказала рядом горничная леди Изольды и сплюнула через плечо. — Каждый год за день до бала. Во дворцах его не принимают, он стоит в гостинице у порта.

Я смотрела, пока карета не скрылась за поворотом, и потом ещё немного — на фонари, которые медленно наливались светом обратно.

* * *

Коробку от Совета принесли вечером.

Её внёс лакей в королевской ливрее, и вся гардеробная замолчала. Коробка была длинная и плоская, перевязанная серой лентой. Селестина развязала ленту сама, кончиками пальцев.

Внутри на серой бумаге лежали серые перчатки по локоть — тонкие, без единой вышивки, цвета остывшей золы.

— Ну и тряпки, — сказала Селестина.

Она приподняла одну за палец и уронила обратно, потом сунула коробку мне.

— Отнеси в шкаф к бальному. И проследи, чтобы завтра я их не забыла. Поняла?

— Да, кузина.

Я отнесла. А ночью лежала в своей каморке между зимними накидками и летними и считала про себя вальс, которого никогда не танцевала. Раз-два-три, раз-два-три. До бала оставался день.

Глава вторая

Рен

Снег пошёл в четыре часа пополудни — первый, точно в день открытия, — и к восьми весь Сейнмор говорил, что Сезон будет удачным.

Мы ехали в третьей карете. Впереди — леди Изольда, за ней — Селестина, и юбки её платья занимали полкареты, а мы с Пиппой следом, с запасными туфлями и шалью на коленях. На мне было серо-голубое платье, перешитое из прошлогоднего платья Селестины, и единственные мои бальные перчатки — нитяные, заштопанные на большом пальце. Пиппа протёрла рукавом запотевшее стекло.

— Смотри.

Дорога к королевскому дворцу поднималась на самый высокий холм города, и вся она горела огнями. Кареты стояли в очередь от самого низа, фонари на них покачивались, лошади выдыхали пар, и в этом пару кружил первый снег — мелкий, сухой, как сахарная пудра. Внизу, у портов, огни были редкие и жёлтые. Наверху дворец светился всеми окнами разом, и снег над его крышами казался золотым.

Я прижалась лбом к холодному стеклу и смотрела, пока Пиппа не дёрнула меня за рукав: приехали.

* * *

Я думала, что знаю, как выглядит богатство. Я гладила

платья, каждое из которых стоило дороже нашего дома на побережье, и чистила серебро, в котором видела своё лицо. Оказалось, о настоящем богатстве я не знала ничего.

Свиту пускали в зал раньше господ, через боковые двери: мы должны были занять места и встретить своих, когда их объявят. В дверях королевского бального зала я остановилась так резко, что Пиппа налетела на меня сзади.

Зал был белый с золотом. Мраморные колонны с золотыми прожилками уходили вверх так высоко, что мне пришлось запрокинуть голову, и там, под сводом, было нарисовано целое небо: облака, рассвет и фигуры в облаках, держащие корону. Одна из фигур была закрашена серым. Гадать, чья, не приходилось: Великих Домов три, а фигур четыре. Я стала смотреть на люстры.

Они висели вдоль всего зала, каждая величиной с карету, из горного хрусталя, и в каждой горели сотни свечей. Хрусталь дробил свет на мелкие осколки, и они дрожали на стенах, на лицах, на голых плечах дам, как солнечные блики на воде. Стены между колоннами были зеркальными. В зеркалах зал повторялся, повторялся снова и уходил во все стороны без конца, так что казалось, будто весь мир сегодня собрался здесь и танцует.

Было тепло. Снаружи шёл снег, а здесь пахло горячим воском, оранжерейными розами и апельсинами, сложенными пирамидами в серебряных вазах. На галерее играл оркестр — не одна скрипка, как на праздниках в усадьбе, а це-

лая стена струн, и звук стоял в воздухе так же плотно, как свет.

А потом я увидела людей.

Гости прогуливались по паркету, выложенному звёздами из разных пород дерева, и издалека было видно, кто из какого Дома: каждый Дом одевался в свои цвета. Синее и серебро — Вода: сапфиры, жемчуг в несколько ниток, серебряное шитьё по подолам. Тёмно-зелёный бархат и тяжёлое золото — Земля, изумруды размером с перепелиное яйцо. Белое, светлое, почти прозрачное — Воздух, и на них бриллианты, мелкие, как изморозь на стекле. И кое-где, редко, — чёрное с бордовым и рубины на очень бледной коже.

Все эти люди держались так, словно ничего особенного не происходит, словно хрусталь, розы в ноябре и целый оркестр — просто воздух, которым они дышат каждый день.

— Закрой рот, — шепнула Пиппа.

Я закрыла. Но смотреть не перестала.

* * *

Сначала, по обычаю, герольд объявлял Великие Дома: главы входили со своими семьями по одному, и я впервые увидела магию такой, какой она бывает в столице, — не в хозяйстве, а напоказ.

Первыми вошли Авенелы, Дом Воздуха, и вместе с ними в зал вошёл ветер. Он прошёл у меня по ногам, тронул выбившуюся прядь, и пламя сотен свечей разом наклонилось в одну сторону, как трава, а потом медленно выпрямилось.

Белые подолы их дам колыхались, хотя сами дамы стояли неподвижно. Ни одна не держала веера.

Впереди шла женщина с волосами цвета льна, уложенными в высокую причёску, и с лицом, которое улыбалось всем сразу, — леди Миранда Авенел, глава Дома. Про неё говорили, что она слышит каждое слово в этом зале. Рядом шёл её сын Рейф, светловолосый и стройный, и на боку у него висела шпага. Шпага на балу была только у него.

Торнбери, Дом Земли, вошли в тёмно-зелёном бархате, и пол под ними не скрипнул. Королевский паркет поскрипывал под каждым лакеем, а под ними молчал. Впереди шёл полный, приветливый человек с мягким лицом и перстнями на каждом пальце, и все, мимо кого он проходил, кланялись ему чуть ниже, чем было нужно.

Лорд Торнбери, шепнула Пиппа, банкир, и половина этого зала ему должна. За ним шёл высокий молчаливый человек — его бастард Гидеон — и смотрел не на людей, а на стены и колонны, будто прикидывал, сколько они выдержат.

Лислей я почувствовала кожей ещё до того, как их объявили: от дверей потянуло сырой прохладой, как у реки на рассвете. Изольда вошла первой, за ней Селестина, и мы с Пиппой встали у них за спиной. Рейф Авенел обернулся и посмотрел на Селестину через весь зал так, словно она уже обещала ему танец. Все Лисли в зале разом взяли с подносов бокалы, и стекло в их руках сразу запотело, а у тех, кто держал бокал дольше, по краю поползла тонкая изморозь.

Шампанское в бокале Изольды встало, как камень: ни один пузырёк не поднялся со дна. Она отпила и посмотрела через зал на леди Миранду. Миранда улыбнулась в ответ — и первой отвела глаза.

Последними из Домов, почти без объявления, вошли Мордонты: чёрное с бордовым, лица белее свечного воска, движения, на которые хотелось смотреть и от которых хотелось отойти. Зал не расступился, но вокруг них само собой образовалось пустое место — на шаг шире, чем вокруг остальных.

Вёл их старик. Или не старик: волосы белые, как бумага, а спина прямая, как у юноши. Лица у него не было. Вместо лица была маска, гладкая, белая, без единой блёстки, пожелтевшая по краям, как старая слоновая кость. Больше ни на ком в зале масок не было, и на его маску все старались не смотреть — и всё равно смотрели.

— Дом Крови, — шепнула Пиппа. — Вампиры. Должны им многие, только вслух никто не признаётся. Не смотри им в глаза. Они слышат, как у тебя стучит сердце.

— А он?

— Граф Мордонт, глава Дома. Без маски его никто никогда не видел. — Пиппа почти не шевелила губами. — Говорят, так записано в каком-то договоре. В каком — не спрашивай. Наверняка никто не знает, а кто спрашивал, тот больше на балы не ездит.

Высокая женщина с волосами чёрными, как вороново

крыло, проплыла мимо нас и остановилась возле молодого мага из Авенелов. Она ничего ему не сказала, только улыбнулась и подождала. Он побледнел так, что стал одного цвета со своим белым шейным платком.

— Леди Октавия, — сказала Пиппа, когда та отошла. — Он ей должен. У Земли каждый долг записан в книгу, и к вечеру его знает весь свет, а долг Крови молчит. Только, говорят, берут за него не одни деньги.

Наконец музыка смолкла, и все повернулись к лестнице.

Короля объявили последним и без фанфар. Он спускался по широким ступеням один, без свиты: молодой, моих лет, светловолосый, в белом мундире с синей лентой через плечо. Корона на нём была простая, золотой обруч, но сидела чуть низко, будто была ему великовата. Лицо у него было доброе и усталое, а улыбка — безупречная.

Зал склонился, и по нему прошёл шелест сотен платьев.

— Сезон открыт, — сказал король.

И снова улыбнулся. Никому.

— Король Аурелиан, — шепнула Пиппа мне в плечо. — Красивый. И ничего не решает: подписывает, что скажет Совет, открывает балы, закрывает балы. Бедняжка родился в Самую Длинную Ночь. Таких зовут полуночниками и говорят, что они приносят удачу. Другим.

* * *

Лорд Торнбери пересёк зал и поцеловал Изольде руку. Вокруг них сразу стало тише: дамы рядом умолкли и, не обо-

рачиваясь, прислушались.

— Вода нынче высоко стоит, миледи, — сказал Торнбери всё с той же мягкой улыбкой.

— Вода всегда находит свой уровень, лорд Торнбери, — ответила Изольда.

Вино в его бокале мелко задрожало. Шампанское в её бокале стояло.

Он поклонился и отошёл. Дамы тут же двинулись к Изольде, одна — вслед за Торнбери, а молодой Авенел, стоявший между ними, подумал и не пошёл ни к кому.

— Флот, порты, торговля, — шепнула Пиппа. — Наши в последние годы обходят всех, и все это терпеть не могут. Сегодня тут решают, кто с кем держится весь Сезон: чьи корабли, чьи деньги, чьи свадьбы.

* * *

Над королевской ложей висел гобелен Конкорда — огромный, в полстены, золото и шерсть. На нём король и фигуры в цветах Великих Домов стояли у стола с развёрнутым свитком: Вода в синем, Земля в зелёном, Воздух в белом. Четвёртой фигуры не было. Кто-то аккуратно выпорол её из гобелена и пришил на её место серый квадрат, грубый, как заплата на мешке. Стежки по краю шли неровно, и золотой фон вокруг стянуло складкой.

На потолке его хотя бы закрасили.

— Там был Огонь, — сказала Пиппа, хотя это было ясно и так. — Конкорд — это мирный договор после восстания. С

тех пор в Совете сидят Вода, Земля и Воздух, а кресло Огня пустует.

Заплата висела тут со времён Конкорда, и за всё это время её никто не переделал. Её оставили такой нарочно.

— А нынешний наследник? — спросила я.

Пиппа придвинулась ближе.

— Двенадцать лет назад их замок сгорел за одну ночь. Мать, отец, младшая сестра, слуги — все. Выжил один мальчишка, ему было пятнадцать. Официально это несчастный случай. А на кухнях говорят… — она оглянулась на Авенелов, — говорят, он сам. Не удержал огонь. Вспылил — и всё.

Я вспомнила считалку. Тронешь — пальцы обожжёшь.

— И с тех пор он каждый год приходит сюда, чтобы ему отказали, — сказала Пиппа. — Главой Дома его не зовут: по Конкорду у Пепла нет глав, одни наследники. До него так же ходил отец, до отца дед.

* * *

Потом заиграли полонез, и зал пошёл по кругу.

Я видела балы и раньше — через щель в двери, с антресолей летней усадьбы, куда прислугу пускали посмотреть, если она не шумела. Но там пар было мало, и половина сбивалась. Здесь танцевали все, и никто не сбивался. Зал поворачивался, как вода в широкой воронке: медленно у краёв, всё быстрее к середине. Белые платья Авенелов не касались пола — их держал воздух. Синие юбки наших дам ложились при каждом повороте ровно, без единой смятой складки. Хру-

сталь над головами отзывался на музыку тонким звоном, и свет плыл по лицам.

Селестина танцевала с Рейфом Авенелом и смеялась, запрокидывая голову. На неё смотрела половина зала.

Вальса ещё не играли: первый вальс Сезона по обычаю отдают покаянию. Но я всё равно считала его про себя — раз-два-три, раз-два-три. Этот счёт я знала лучше молитвы: я слышала его через стену, пока гладила бальные платья, в которых его будет танцевать кто-то другой. Мои ноги знали, куда шагнуть на «раз». Ни одного настоящего шага они не знали.

— Ты что, танцуешь? — Пиппа покосилась на мой подол. Носок туфли под ним отбивал такт.

— Считаю.

— Считай молча, — вздохнула Пиппа. — Нас всё равно не пригласят.

Я знала. И всё-таки мне вдруг так захотелось, чтобы пригласили — один раз, на один круг, — что пришлось крепче сжать веер Селестины.

* * *

Отыграли полонез и кадриль. Главы Совета поднялись к королевской ложе: на покаяние они по обычаю смотрят оттуда, как свидетели Конкорда, и Изольда оказалась на другом конце зала, над всеми. Тогда герольд у дальних дверей ударил жезлом в пол.

Удар был негромкий, но разговоры осели, как пыль, и го-

ловы одна за другой повернулись к дверям.

— Лорд Сайлас Эшгрейв, — объявил герольд. — Наследник Дома Пепла.

Первым я почувствовала холод.

Это был не сквозняк, как от Авенелов. Сквозняк дует, а этот холод просто был — как в погребе или в пустой церкви ночью. Он дошёл до меня через весь зал, тронул щёки, пробрался под рукава. Свечи у дверей потускнели: не погасли, а сникли, будто им стало нечем дышать. И дальше, от дверей в глубину зала, они тускнели одна за другой.

Он был высокий и тёмный: тёмные волосы, чуть длиннее, чем носят при дворе, тёмный сюртук без единого украшения — ни цвета Дома, ни вышивки. Среди синего, зелёного, белого и бордового он выглядел как прореха в ткани. Лицо резкое, с прямыми бровями и сжатым ртом. Красивое, но не так, как красив Рейф Авенел: к этому лицу возвращаешься взглядом, потому что оно ничего тебе не отдаёт.

Зал улыбался — уголками губ, за веерами, через плечо. Он стоял под этими улыбками и, кажется, их не видел.

У самых дверей, прежде чем опустить глаза, как требуют правила, он поднял их — один раз — и обвёл зал.

И посмотрел на меня.

Не на Селестину. Я стояла в её тени, чуть позади, и никто, кроме Пиппы, не знал, что я вообще здесь. Но я одна в ту секунду не улыбалась — я смотрела на его руку, — и его взгляд остановился на мне. Я подняла глаза. Прислуге этого

не полагается, я это знала и всё равно подняла.

Глаза у него были светлые, очень светлые при тёмных бровях и смуглой коже, как вода подо льдом.

Он отвёл взгляд первым.

* * *

— Боже, как жарко, — сказала Селестина.

Я моргнула: в зале стало холоднее, чем на улице, у меня мёрзли пальцы.

— Кузина?

— Душно. — Она уже стягивала левую перчатку, палец за пальцем, торопливо, совсем не так, как делала всё остальное. — Подержи.

Перчатка оказалась у меня в руке, тёплая и влажная изнутри, а во второй руке был её веер. Обе руки у меня были заняты, и я осталась стоять, где стояла.

— Я на балкон. На минуту.

Селестина ушла быстро, не оглядываясь, к стеклянной двери на балкон в нише за колонной, за которой шёл снег. Дверь за ней закрылась, и из зала её стало не видно.

Я стояла с её перчаткой и веером и не понимала, как ей может быть жарко в таком холоде, а перчатка между тем была влажная изнутри, будто Селестина весь вечер сжимала кулаки. Потом я велела себе не думать об этом. Отчего госпоже жарко, прислугу не касается, прислуге положено держать перчатку, пока госпожа не вернётся. Оркестр играл что-то медленное, Пепел стоял у дальних дверей, опустив глаза, и

я считала такты, чтобы не смотреть на него.

— Рен, — прошипела Пиппа. — Перчатку. Спрячь.

Герольд ударил жезлом второй раз.

Музыка оборвалась на середине такта, и пары остановились. Кто-то засмеялся — и сразу замолчал: смеяться полагалось после.

— Покаяние Дома Пепла, — объявил герольд.

И Сайлас Эшгрейв пошёл через зал.

* * *

Я много раз потом пыталась вспомнить, о чём думала, пока он шёл. Ни о чём. Думало тело. Тело десять лет учили одному: когда к тебе идёт господин, ты стоишь, где стоишь, держишь, что держишь, и опускаешь глаза. Я опустила. Наверное, в ту минуту мы с ним были единственными людьми в зале, кто смотрел на паркет.

Паркет был натёрт до зеркального блеска, и в нём отражались люстры, перевёрнутые, как в озере. По этому озеру ко мне шли сапоги — чёрные, хорошей кожи, не новые; на левом у носка была царапина. Свечи по обе стороны от его пути тускнели одна за другой, и в глянце пола гасли перевёрнутые огни.

Зал ждал Селестину. Я чувствовала, как взгляды скользят по нашему краю зала, ищут её там, где ей полагалось стоять, не находят — и спотыкаются о серое в моей руке.

Пиппа за моим плечом тихо ахнула.

Сапоги остановились в шаге от моего подола. Холод шёл

от него, как от проруби. Я видела край тёмного рукава и руку с тяжёлым кольцом, повёрнутым печаткой внутрь, к ладони: прислуга всегда смотрит на руки. Рука не дрожала. Он поклонился — я поняла это по тому, как сдвинулась тень, — и сказал ровно, заученно:

— Миледи. Окажете ли вы мне честь первого вальса?

Он не поднимал глаз.

Это не мне. Это кузине, она на балконе, за колонной, она сейчас вернётся. Я знала нужные слова, они были где-то совсем рядом, но до губ не доходили. В зале стало так тихо, что я слышала, как потрескивает воск в ближней люстре. Сотни людей смотрели на серую перчатку в моей руке. От их взглядов горели щёки, от него тянуло холодом, и я стояла между жаром и холодом и не могла пошевелиться.

Кто-то сбоку шепнул: «Ну же».

Он ждал. Опущенная голова, неподвижная рука с кольцом — всё в нём ждало ответа так, как ждут господа: не сомневаясь, что ответ будет. И где-то под страхом проснулось совсем глупое: меня приглашают на вальс. Меня. Губы шевельнулись раньше, чем я поняла, что открываю рот.

— Да.

Где-то позади у кого-то из наших с тонким звоном лопнул бокал: заледенело шампанское.

Он поднял глаза.

Глава третья

Сайлас

Двести двенадцать шагов от дверей до назначенной дамы. Плюс-минус десять — смотря где её поставят.

Я считал их каждый год. В первый раз я сбился, потому что кто-то засмеялся раньше времени. Потом перестал сбиваться. Счёт хорош тем, что занимает голову: пока считаешь шаги, не слышишь, что шепчут за веерами.

Я давно перестал ненавидеть этот вечер. На ненависть нужны силы, а силы мне были нужны на другое.

На то, чтобы держать огонь.

Огонь у меня в крови, как вода у Лислей и ветер у Авенелов. Разница в том, что их дар им разрешён, а мой нет: статья четвёртая Конкорда запрещает Эшгрейвам зажигать огонь публично — при посторонних, на балах, на улицах, — и нарушение делает покаяние вечным. В собственном доме закон мне не запрещает ничего. Я и дома не зажигал. С юности я держу его внутри так крепко, что он тянет тепло из всего вокруг. Свечи рядом со мной тускнеют, вино в бокалах холодеет, дамы зябко поводят плечами, когда я прохожу мимо. Так снаружи выглядит огонь, который не выпускают: холодом.

Однажды я его выпустил, ещё мальчишкой. Я проснулся ночью, а дом уже горел: его подожгли, пока мы спали, — сни-

зу, с лестниц, и пахло маслом. Помню жар, крик сестры за стеной и то, как мой огонь вырвался из меня сам, от страха, навстречу чужому, огонь к огню. Дальше не помню. Очнулся в снегу во дворе. Дома не было. Семьи не было.

Кто поджёг, наверху уверены все — и все молчат: доказательств нет, а виновница — глава Великого Дома. Для салонов и кухонь её люди пустили другую историю, удобнее. Леди Изольда Лисль стоит сейчас у королевской ложи, среди Совета, с бокалом в руке.

Но одного не знаю даже я: что сделал в ту ночь мой огонь. Сдержал чужой — или помог ему подняться к ним. Дал им время выйти — или отрезал им лестницу.

Поэтому я держу.

* * *

До покаяния меня держат в малой прихожей у дальних дверей зала. Каждый год одна и та же комната: кресла, в которые никто не садится, зеркало в золочёной раме, лакей у двери, который смотрит сквозь меня, как сквозь окно. Из зала сюда доносится музыка, смех и звон бокалов, приглушённые, как жизнь за стеной чужого дома.

В зеркало я не смотрю. Я смотрю на свою руку.

На правой руке у меня отцовское кольцо — тяжёлое, старое, с печаткой Дома. Печатку я ношу внутрь, к ладони. В гербе моего Дома птица. Её имя Конкорд вычеркнул вместе с гербом, и свет давно приучился говорить «птица», если говорит о ней вообще. Её закрасили серым везде, где смогли

дотянуться: на гобеленах, на воротах, на нашем собственном камине. Здесь — не смогли. Я поворачиваю кольцо печаткой внутрь не для того, чтобы её спрятать, а для того, чтобы они её не видели. Это разные вещи, и разница — единственное, что я себе оставил.

Лакей открыл дверь. Герольд ударил жезлом в пол.

У дверей, перед тем как опустить глаза по правилам, я, как всегда, поднял их один раз. Привычка: сосчитать выходы. Двери, галереи, окна в нишах. Лица сливались в одно пятно, улыбки — в другое.

Одно лицо не улыбалось.

Девушка за плечом Селестины Лисль, не в синем — в чём-то сером и блёклом. Она смотрела не на меня, а на мою руку. Потом подняла глаза — прямо мне в лицо, как прислуга не смотрит никогда, — и не опустила. Я отвёл взгляд первым и сам не понял зачем.

Потом были двести двенадцать шагов.

Шёпот шёл впереди меня, как волна перед носом лодки. Справа засмеялись — рано, как в первый год. На двухсотом шаге я увидел серое: перчатку Совета в чьей-то руке.

Я остановился, поклонился и сказал то, что говорил каждый год:

— Миледи. Окажете ли вы мне честь первого вальса?

И стал ждать «нет». Я знал, каким оно будет: ленивым, через плечо, с полуулыбкой. Селестина Лисль наверняка репетировала его неделю.

Тишина тянулась слишком долго. Я успел подумать, что она решила растянуть удовольствие. Потом кто-то прошептал: «Ну же». Потом —

— Да.

Голос был совсем не тот, какого я ждал: тише и ниже, с хрипотцой, перепуганный, будто горло перехватило. Где-то в зале тонко лопнуло стекло.

Я поднял глаза.

Это была не Селестина. Это была та, что не опустила глаз. Вблизи она оказалась моложе, чем я думал, и ниже меня на голову. Каштановая прядь выбилась из причёски и легла на щёку. Под пудрой, на тон светлее её кожи, проступали веснушки. В одной руке она держала веер, в другой — серую перчатку, и на руке с перчаткой была своя, нитяная, заштопанная на большом пальце.

Прислуга. Я понял это за полвдоха, как понимают, что лёд под ногой тонкий.

Глаза у неё были серо-зелёные и огромные от ужаса.

* * *

Мне хватило одного удара сердца, чтобы увидеть доску целиком.

Конкорд я знал наизусть, со статьями, примечаниями и поправками. Я перечитал его десятки раз — так осаждённый изучает план собственной крепости, надеясь найти в стене ход, которого не заметил враг. В самом конце, мелким почерком победителей, такой ход был: оговорка, над которой

смеются с тех пор, как её написали: если дочь Великого Дома по доброй воле примет руку Пепла, она войдёт в его Дом, и покаяние может быть снято.

Никто никогда не соглашался. Это и писали затем, чтобы никто никогда не согласился.

Она сказала «да» при всём зале. Она стояла среди Лислей. Перешитое платье, штопаная перчатка — так Великие Дома одевают бедных родственниц. Если в ней есть хоть капля их крови, этого хватит.

Первый шанс почти за век.

И ещё одно, в чём я не признаюсь никому. Изольда Лисль отняла у меня всё. Сейчас у неё на глазах девушка из её Дома стоит передо мной и говорит мне «да». Я могу взять у Изольды хотя бы это.

Я протянул руку.

Девушка смотрела на мою ладонь. Потом, не глядя, сунула веер рыжей девице у себя за спиной, а перчатку так и не выпустила — смяла в кулаке. И положила другую руку в мою.

Рука была тёплая. Я почти забыл, какими бывают тёплые руки.

* * *

Оркестр молчал. Дирижёр на галерее смотрел на королевскую ложу, король — на Совет, Совет — друг на друга. Потом король, помедлив, кивнул. Не знаю, понимал ли он, что делает. Скрипки начали вальс.

Она не умела танцевать. Я понял это на первом же такте:

она шагнула не туда, наступила мне на носок и застыла.

— Простите, милорд.

— Не смотрите вниз.

Она посмотрела вверх, на меня. Это оказалось хуже для нас обоих.

Второй такт она пропустила. На третьем я услышал, что она считает — одними губами, шёпотом: раз-два-три. Сбивалась она не в счёте, а в шаге: её ноги знали музыку, но не знали пола.

— Считайте вслух, — сказал я, почти не разжимая губ. — Мне тоже.

Она взглянула на меня так, будто я сказал что-то неприличное. Потом, тихо, почти беззвучно:

— Раз-два-три.

— Раз-два-три, — повторил я.

И перестал вести её по правилам зала. Повёл на её счёт: положил ладонь выше на её спину, под лопатку, и дал ей своё «раз» ровно там, где было её. Она это почувствовала — я видел, как дрогнули её брови: поняла, что подстраиваются под неё, а не она.

На восьмом такте мы перестали считать.

А потом мы уже шли по кругу как одно. Я не знаю, как это вышло. Она оказалась легче, чем я думал, и больше ни разу не посмотрела под ноги. Её пальцы на моём плече сжимали смятую перчатку, и я чувствовал под ладонью, как у неё колотится сердце. Я смотрел на неё сверху вниз — на тонкую

шею над перешитым воротом, на лицо, которое совсем не умело ничего скрывать и выдавало всё, — и держал огонь.

Зал вокруг нас молчал, и было слышно, как шуршит её платье. Я видел лица по краям круга — открытые рты, поднятые веера, бокалы, остановленные на полпути, — и над ними, у королевской ложи, неподвижную Изольду. Свечи по краям тускнели одна за другой.

На развороте у колонн у неё получилось по-настоящему, чисто — и она улыбнулась, быстро, коротко. Не мне и не залу: себе. Эту улыбку видел только я.

— Вы ведёте не по правилам, милорд, — сказала она тихо, почти не шевеля губами, и, кажется, сама испугалась, что сказала.

— Правила здесь писали не для меня.

Она посмотрела на меня прямо, впервые за весь танец не украдкой, будто хотела понять, шучу ли я. Я не шутил. Я давно разучился.

И огонь во мне рванулся.

На один удар сердца я его не удержал. В нос ударило дымом — не свечным, а настоящим, горьким, из той ночи. Ближайшая люстра вспыхнула ярче, все свечи разом, и тут же сникла, когда я сжал хватку так, что заныли зубы. Никто не понял. Кто-то ахнул — решили, наверное, что это сквозняк от Авенелов.

Она почувствовала. Её пальцы на моём плече сжались сильнее.

Я держал. Держал изо всех сил, потому что внутри что-то рвалось наружу, и я не знал что, и это было страшнее дыма. Вокруг нас стало так холодно, что у неё на губах выступил пар от дыхания.

Она не отстранилась. Все отстраняются — она нет. Она посмотрела на этот пар, потом на меня и спросила тихо, тем голосом, каким, наверное, всю жизнь спрашивала господ, не подать ли накидку:

— Вам холодно, милорд?

Двенадцать лет от меня отходили на шаг. Двенадцать лет никто не спрашивал.

— Всегда, — сказал я. Это вырвалось раньше, чем я решил, что отвечу.

Она ничего не сказала, только её пальцы на моём плече на миг перестали сжимать смятую перчатку и легли ровно.

Я поймал себя на том, что впервые за много лет не считаю выходы из зала.

* * *

Музыка кончилась. Я остановился на последнем такте, как положено, и поклонился. Она присела в реверансе — правильно и низко, как горничная, — и только поднимаясь поняла, где она и что сделала. Я видел, как это знание дошло до её лица.

А потом зал взорвался.

Сначала стояла тишина, такая полная, что я услышал, как кто-то уронил на паркет ложечку. Потом заговорили все ра-

зом, кто-то вскрикнул, кто-то засмеялся — визгливо, взахлёб. Синие платья Лислей сомкнулись стеной. С балкона, из-за колонны, вышла Селестина — с одной перчаткой на руке и белым лицом. А через зал к нам шла Изольда, и шампанское в бокалах у тех, мимо кого она проходила, затягивало льдом.

Девушка рядом со мной не двигалась.

— Вы понимаете, что сделали? — спросил я тихо.

Она подняла на меня глаза. Губы у неё дрогнули.

— Нет, милорд.

Честный ответ. Я тоже не понимал — не до конца. Я знал только, что за моей спиной девяносто три года, а передо мной шесть недель Сезона, и что Изольда Лисль уже совсем рядом.

Я встал между ними.

Глава четвёртая

Рен

От вальса в памяти у меня остались одни обрывки. Холод его ладони у меня на спине, запах — то ли зимы, то ли гари. Его голос, повторяющий за мной: «Раз-два-три». Я всю жизнь подстраивалась под всех, а он подстроился под меня за один такт. И ещё одно слово, сказанное так, будто вырвалось против его воли: «Всегда». Это я помнила, когда всё остальное уже смешалось.

Нас развели почти сразу. Меня — синие рукава, чьи-то пальцы на локте, дверь за портьерой. Его — я не видела куда. Последним, что я увидела в зале, была его спина. Когда Изольда шла к нам через толпу, он шагнул и встал между нами, ничего не сказав. Никто никогда не вставал между мной и Изольдой.

Закрытая гостиная была маленькой, синей и жаркой, и в ней пахло духами и паникой.

Селестина плакала — некрасиво и громко, с икотой, как плачут дети, которых наказали при всех. Тётки кричали друг на друга и на меня, по очереди и хором. Двоюродный дядя, которого я видела раз в жизни, требовал нюхательной соли. Кто-то опрокинул вазу, вода растеклась по ковру и тут же подёрнулась ледком: в комнате было слишком много Лислей, которые не держали себя в руках.

— Она это нарочно!

— Она ничего не соображает, это же Рен…

— Кто дал ей перчатку?

— Я дала, — всхлипнула Селестина. — Мне было… мне было жарко…

Она подняла на меня мокрые глаза, и в них было изумление, почти обида.

— Ты же не умеешь танцевать, — сказала она. — Ты же никогда в жизни не танцевала.

Это было единственное, что мне в тот вечер сказали обо мне самой.

Меня поставили у стены. Я стояла. В кулаке у меня была смятая серая перчатка, и пальцы не разжимались.

Изольда не кричала.

Она стояла у камина, и огонь в камине — обычный, дровяной — горел низко и ровно, будто боялся её задеть. Вино в её бокале не шевелилось. Она молчала, и крик вокруг неё понемногу стихал, как вода уходит в песок. Когда стало почти тихо, она сказала:

— Селестина, прекрати.

Селестина прекратила.

Изольда посмотрела на меня. Я поняла, что за все три дня в её доме это первый раз, когда она на меня смотрит по-настоящему. И что лучше бы не смотрела.

* * *

Дверь открылась, и вошёл Совет.

Я представляла себе Совет как что-то огромное: полный зал людей в мантиях. Вошли двое и король. Леди Миранда Авенел — с лицом, на котором вежливое сочувствие лежало поверх удовольствия, как вуаль поверх улыбки; занавеси на окнах шевельнулись, когда она вошла, хотя окна были закрыты. Лорд Торнбери — полный, мягкий, в перстнях, с видом человека, которого оторвали от хорошего ужина ради ещё лучшего. Третий голос Совета, Изольда, уже был здесь. Король вошёл тихо и встал у двери, словно тоже был здесь гостем. За ними семенил старик в чёрном с толстой книгой под мышкой — Хранитель Конкорда.

Король не голосует, он скрепляет; голосуют трое. Всё это я знала из кухонных разговоров и никогда не думала, что это может оказаться про меня.

— Зачитайте, — сказал Торнбери.

Хранитель открыл книгу на заложенной странице. Голос у него был сухой, как бумага.

— «Буде же дочь Великого Дома по доброй воле примет руку наследника Пепла на открытии Сезона, да войдёт она в Дом его. И да примет Дом сей у себя Совет и весь свет, дав последний бал Сезона; и на рассвете того бала да будет она с ним обвенчана пред Короной и Советом, и Совет рассудит, исполнено ли сказанное, и, если исполнено, да будет снято с него покаяние».

Я повторила это про себя. Войдёт в Дом его. Последний бал. Обвенчана на рассвете.

Это было про меня.

Было и ещё одно. Последний бал Сезона — бал Самой Длинной Ночи. Его всегда давал король, здесь, во дворце, а теперь его должен был дать Пепел. В замке, который сгорел.

— Это издёвка, — сказала Изольда. — Оговорку писали как издёвку.

— Девяносто три года — издёвка, — согласилась Миранда. — А сегодня одна девушка согласилась. При всём свете, дорогая. Мы все слышали.

— Девочка растерялась. Это не добрая воля, это ошибка.

— Это была ошибка, — сказала я.

Я сказала это вслух и сама не поверила. Голос вышел тонкий, но его услышали: все повернулись ко мне.

— Я не хотела… Это кузинина перчатка, я её только держала…

— Тише, дитя, — мягко сказал Торнбери, не глядя на меня. — Взрослые разговаривают.

И больше меня никто не слушал. Они говорили обо мне в третьем лице, через мою голову, как говорят о сундуке, который не решили, в какую карету грузить. Я стояла у стены и слушала, как мою жизнь передают из рук в руки, — и, кажется, уже не удивлялась.

— Если это ошибка, — продолжил Торнбери, разглядывая свой перстень, — то как вышло, что Совет прислал перчатки покаяния вашей дочери, леди Изольда, а оказались они в руках… — он помедлил, будто подбирал слово, — …

этой барышни? Кто она? Ваша горничная?

Я увидела ловушку раньше, чем успела её понять. Если Изольда скажет «служанка», значит, Дом Воды отдал перчатки Совета прислуге и превратил вековое покаяние в балаган, при короле, при всём свете. Если скажет «Лисль», значит, дочь Великого Дома приняла руку Пепла по доброй воле, и оговорка вступила в силу.

Изольда тоже это видела. Вино в её бокале дрогнуло — один раз.

— Она Лисль, — сказала Изольда. — Моя кровь.

— Тогда вопрос решён, — сказала Миранда. — Воздух считает, что оговорка вступила в силу. — Она посмотрела на Изольду поверх веера. — Четвёртое кресло в Совете снова будет занято, дорогая. Согласись, это будет интересно.

— Вода требует признать вальс недействительным. Голосуем.

Все в комнате ждали, что Земля встанет с Водой: Земля и Вода слишком много зарабатывают вместе, чтобы ссориться из-за какой-то девчонки. В Совете любые два Дома могут продавить третий, и сейчас всё решал один Торнбери.

Торнбери улыбнулся — тепло, по-доброму, как улыбаются, отказывая в кредите.

— Земля поддерживает Воздух. Вода нынче высоко стоит, миледи, но не выше Конкорда. Не мы ставили этот спектакль: ваша дочь, ваши перчатки. Пожинайте.

Два голоса против одного.

Король у двери, о котором все забыли, шагнул вперёд, и Хранитель подал ему перо. Король подписал быстро, не читая, — как, наверное, подписывал всё. А потом поднял глаза и посмотрел не на Изольду, а на меня. Взгляд был усталый и, мне показалось, сочувственный. Он один здесь смотрел на меня как на человека, с которым что-то случилось.

Совет вышел. Торнбери у двери задержался и сказал Изольде вполголоса, так что расслышала только я, стоявшая рядом:

— До свадьбы ещё шесть недель, миледи. За шесть недель многое случается.

Король вышел последним.

* * *

— Выйдите все, — сказала Изольда.

Вышли все. Селестина — последней, с красными глазами, не взглянув на меня. Дверь закрылась.

Мы остались вдвоём. Огонь в камине совсем притих.

Изольда подошла ко мне. Она была выше меня на голову, и от неё тянуло сыростью, как от реки в тумане.

— С этой минуты ты не моя, — сказала она спокойно. — По Конкорду ты теперь в Доме Пепла. Это значит, что я больше не могу тебе приказывать.

Я молчала.

— Это не значит, что я не могу тебе ничего сделать. — Она поправила мне выбившуюся прядь, медленно, почти нежно. Пальцы у неё были холодные и сухие, как фарфор.

— Сегодня ночью ты уедешь с ним в его замок. Туда, где он сжёг собственную мать.

У меня перехватило горло.

— Ты будешь мне писать каждую неделю. Что он делает, с кем говорит, кто к нему приезжает. — Она убрала руку.

— А если я не буду писать, миледи? — Голос был не мой.

— Тогда, Рен, — сказала она, и я вздрогнула, потому что моё имя она произнесла без запинки, — после Сезона, когда этот брак развалится, тебя не возьмут ни в один дом Вальмера. Ни горничной, ни судомойкой. Я об этом позабочусь. — Она помолчала. — А чулок с медяками на дне твоего сундука останется здесь. Восемь серебряных и горсть меди, если не ошибаюсь?

Она знала моё имя — всё это время знала, «Рут» было нарочно, чтобы я помнила своё место. И она знала, сколько у меня в чулке. Значит, мой сундук обыскивали. Может быть, в первую же ночь, пока я спала между зимними накидками и летними.

Она вышла, и дверь за ней закрылась без звука.

* * *

Я села на бархатный табурет у стены — первый раз за весь вечер села — и посмотрела на свои руки. В одной была серая перчатка, смятая в комок. В другой ничего.

Если бы я сказала «нет». Одно короткое слово, которое Селестина репетировала двенадцать раз. Я бы стояла сейчас за её плечом с веером, и всё было бы как всегда: каморка,

кухня, «Рут». Час назад мне казалось, что хуже этого ничего нет.

Я ошибалась.

Дверь приоткрылась, и внутрь проскользнула Пиппа. В руках у неё была её собственная шаль, серая, вязаная, вся в катышках. Она накинула шаль мне на плечи и подоткнула у горла, как укрывают ребёнка.

— Карета ждёт, — шепнула она. — Его карета.

Помолчала.

— Рен. Пиши мне. Не ей — мне.

Глава пятая

Сайлас

Карета была моя, и холод в ней тоже был мой. Через час на стёклах изнутри нарос иней.

Она сидела напротив, в углу, в бальном платье и в шали — серой, вязаной, явно с чужого плеча. Больше у неё не было ничего: ни плаща, ни сундука, ни горничной. Лисли отдали её мне так, как выгоняют прислугу, — в чём была.

В правой руке она держала смятую серую перчатку. Костяшки пальцев у неё побелели.

До Эшгрейва ехать полночи. Я смотрел, как за окном уходят назад мильные столбы.

Она ни разу на меня не посмотрела: ни когда я подал ей руку у кареты — она оперлась, не поднимая глаз, и сразу отняла пальцы, — ни когда я сел напротив. Смотрела в пол, в окно, на свои колени. Сжатые руки, сжатые губы.

Ненавидит, решил я. И справедливо. Ещё сегодня вечером у неё была жизнь — судя по штопке на перчатке, не лучшая, но своя. Теперь у неё был я.

Или боится. Она наверняка слышала, что про меня говорят: в Сейнморе это повторяют даже уличные мальчишки. Пепел не удержал огонь. Если она в это верит — а с чего бы ей не верить, — то сейчас едет ночью в запертой карете с человеком, который сжёг собственную семью. На её месте я

бы тоже не поднимал глаз.

Или третье, и это было вероятнее всего: она смотрит в пол, потому что ей так велели. Изольда говорила с ней наедине. Я видел, как она вышла из той гостиной: бледная, с прямой спиной и пустым лицом. Изольда никогда не тратит слов впустую. Девушка из её Дома у меня в замке — лучших глаз и ушей в моём доме Вода не придумала бы, даже если бы очень старалась.

Может быть, она и старалась. Может быть, Селестина, которая в нужную секунду оказалась на балконе, перчатка в нужной руке — может быть, всё это было задумано с самого начала.

Тогда пусть смотрит в пол.

* * *

Она дрожала. Я заметил это по тому, как вздрагивала бахрома шали. У неё изо рта шёл пар.

Я ослабил хватку, насколько мог. Иней на стекле подтаял на палец и тут же застыл снова. Больше я не мог: рядом с ней огонь рвался наружу сильнее, чем в зале, и я не понимал почему. Мне это не нравилось.

Я снял плащ и протянул ей.

Она взяла, не поднимая глаз.

— Благодарю, милорд.

Голос ровный, тихий, никакой: так благодарят лакея за поданное блюдо. Она завернулась в мой плащ до подбородка и снова уставилась в пол.

Презирает, подумал я. И правильно делает.

Дальше я думал о деле. О деле думать проще.

Завтра или послезавтра придёт письмо Совета. Оговорка не кончается на вальсе: последний бал Сезона, а на его рассвете венчание и голосование. Шесть недель. Мёртвый замок. Денег нет: состояние моего Дома почти век лежит в банке Торнбери, и Торнбери не отдаст из него ни монеты сверх того, что по Конкорду обязан отдавать мне на хлеб. И всё же сегодня он проголосовал за меня. Человек, у которого в сейфе мои деньги, сам открыл мне дорогу к ключу. Значит, он уверен, что до свадьбы я не дойду. Союзников нет. Слуг нет, кроме тех, что умерли.

И девушка из Дома Изольды, которая меня ненавидит.

Я посмотрел на неё — на опущенную голову, на прядь, опять выбившуюся из причёски, на кулак с перчаткой — и вспомнил её спину под моей ладонью, тёплую сквозь шёлк, и как она шёпотом считала. Раз-два-три.

Это было неважно. Я отвернулся к окну.

На третьем часу я понял, что не знаю её имени.

— Как вас зовут?

Она ответила не сразу и не поднимая глаз.

— Рен, милорд.

— Рен, — повторил я.

Короткое имя, его трудно перепутать. Она чуть повернула голову — не ко мне, к окну, — и мне показалось, что она хотела что-то сказать. Не сказала, глаз так и не подняла.

Ненавидит, подумал я снова. И снова решил, что справедливо.

* * *

Замок показался за последним поворотом, чёрный на белом.

Эшгрейв стоит на холме над замёрзшей рекой — достаточно далеко от столицы, чтобы победители не видели его из окон, и достаточно близко, чтобы помнили, что он есть. Башни, стены, двор, ворота, которые давно никто не запирает: красть здесь нечего, а бояться некого. Восточное крыло не тёмное, а чёрное: пустые проёмы окон, крыша, провалившаяся внутрь. На обгорелых балках лежал снег, и в лунном свете было видно, что под ним сажа.

Она подняла голову, первый раз за всю дорогу. И смотрела на сгоревшее крыло, пока карета не въехала во двор.

Двор был пуст и бел. Посреди него стояло дерево — старый вяз, который сгорел вместе с крылом и так и не упал: чёрный, голый, с ветками, растопыренными, как пальцы. Каждую зиму я собирался его срубить и каждую зиму не мог себя заставить.

Она посмотрела и на дерево. Я ждал, что она перекрестится, или вздрогнет, или спросит. Она не сделала ничего, только плотнее запахнула мой плащ.

Двери открылись раньше, чем я взялся за кольцо. На пороге стоял Хейл со свечой.

Хейл тридцать лет служил дворецким моему отцу и две-

надцать лет служит мне — уже мёртвый. Безупречный чёрный фрак, белые перчатки, седые бакенбарды и выражение лица человека, которого ничем не удивишь. Сквозь него была видна дверь у него за спиной, а свеча в его руке горела ровно, не шелохнувшись на ночном ветру.

— Милорд, — сказал Хейл. — Вы рано. И не один.

— Не один. Это мисс Рен Лисль.

Она шагнула вперёд из-за моего плеча. Я ждал крика. Я видел у тех немногих, кто сюда заезжал, всё: обмороки, крики, молитвы, бегство обратно в карету. Она посмотрела на Хейла, на дверь, видную сквозь него, — и чуть присела, коротко и точно, как прислуга здоровается со старшим слугой чужого дома.

— Доброй ночи, сэр, — сказала она.

Хейл, который ничему не удивлялся, приподнял бровь.

— Лисль, — повторил он так, как повторяют название болезни. — Спальни не проветривались с пожара, мисс.

— Голубую комнату, — сказал я. — И затопите там.

— Мёртвые не разводят огня, милорд. Как вам известно.

Мне было известно. И сам я не разводил.

* * *

Я проводил её до лестницы. В холле было темно и холодно, мебель стояла под чехлами. Над камином был высечен наш герб, закрашенный серым. Она посмотрела на него и ничего не сказала.

У нижней ступени я остановился.

— Восточное крыло, то, что сгорело, — сказал я. — Туда ходить не советую: перекрытия ненадёжны.

Это была половина правды.

Она кивнула, не поднимая глаз.

— Да, милорд.

Конечно. Я смотрел, как она поднимается за свечой Хейла — в моём плаще, с серой перчаткой в кулаке, — и думал, что «да, милорд» мне теперь предстоит слышать до конца Сезона. Так было бы проще всего.

* * *

Я сидел в библиотеке, не зажигая свечей, когда вернулся Хейл.

— Устроил, милорд. Простыни нашлись. Она спросила о двух вещах.

— О каких?

— Где у нас кухня. И сколько нас.

— Нас?

— Слуг, милорд. — Хейл помолчал. — Я ответил: девять, все мёртвые. Она отступила на шаг, а потом сказала: «Понятно. Утром разберусь». И закрыла дверь.

Я долго смотрел в тёмный камин, где двенадцать лет лежал один пепел.

Глава шестая

Рен

В карете я так и не посмотрела ему в лицо: прислуге это вбивают раньше, чем учат держать иглу, и за одну ночь шея не научилась держать голову по-другому. Я видела другое: его колено в темноте, в ладони от моего. Когда карету качало на ухабах, оно чуть не касалось моей юбки, и каждый раз я переставала дышать. Я видела и его руку на этом колене — длинную, неподвижную, с кольцом, повёрнутым печаткой внутрь. Про него на каждой кухне Сейнмора говорят, что он сжёг свою семью, а я думала почему-то, что у такого человека не должно быть красивых рук. А у него были.

Он спросил, как меня зовут, и повторил «Рен», один раз и правильно. Изольде на это понадобилось три дня.

* * *

Голубая комната когда-то, наверное, и правда была голубой. Теперь шёлк на стенах выцвел до цвета старой золы, и только за картиной, которую давно сняли, остался яркий прямоугольник — такой синий, что резал глаз.

Хейл постелил мне при своей свече и ушёл вместе с ней, и комната осталась в лунном свете, синем от инея на стёклах. Огонь в камине так никто и не развёл, а кремня у меня не было. Я легла в платье и в чулках, натянула до подбородка покрывало, сверху — его плащ. Плащ пах снегом и остыв-

шим камином. И им. Это я поняла, уже засыпая, и натянула плащ повыше, потому что было холодно.

Кочергу я нашла на ощупь — холодную, тяжёлую, в пепле по самую рукоять — и положила под подушку. Вряд ли я сумела бы кого-нибудь ею ударить, но с кочергой можно было закрыть глаза, а без неё не получалось.

Где-то в доме тикали часы. Больше ничего: ни шагов на лестнице, ни кашля за стеной, ни скрипа половиц под горничной, которая встала раньше всех. В доме Лислей ночью всегда кто-нибудь не спал. Здесь не спал только холод.

* * *

Проснулась я с первым серым светом: тело прислуги встаёт рано, даже если ему некуда идти.

Окно изнутри затянуло инеем, узорами в палец толщиной. Я завернулась в его плащ — больше не во что было — и пошла искать кухню.

Днём замок оказался больше, чем ночью, и мертвее.

Моя комната была в конце длинной галереи, и галерея шла над холлом, как балкон над сценой: с одной стороны двери спален, с другой — перила, а за перилами пустота во всю высоту дома. Посреди этой пустоты на цепи толщиной в руку висела люстра, хрустальная, огромная, и ни одной свечи в ней не было. Вместо свечей в ней висел лёд. С каждого рожка спускались сосульки, длинные и прозрачные, и хрусталь от них уже нельзя было отличить.

Иней был везде, даже внутри: на медных ручках дверей,

на зеркалах, которые забыли завесить. На портретах вдоль парадной лестницы у дам в пудреных париках лица заросли морозными папоротниками, и остались только руки, веера и кружево. Годами этот дом дышал холодом, и холод оседал на всём, как пыль.

Пыль тоже была. Мебель в коридорах стояла под серыми чехлами, и в полутьме каждое кресло казалось сидящим человеком. В каминах лежал пепел — старый, слежавшийся, серый сверху и чёрный в глубине. В холле на каменном полу лежал ровный серый налёт, и по нему от лестницы шла одна-единственная тропинка следов: в западный коридор, к библиотеке, и обратно, много раз туда и обратно. Других тропинок не было. Я пошла по ней, и мои следы ложились рядом с его — маленькие и вдвое чаще.

Камин в холле был в два человеческих роста. Над ним в камне был высечен щит, но что на щите, видно не было: его закрасили серым, ровно и густо, будто Дом стёр себе лицо. За лестницей стояли высокие двустворчатые двери, белые с позолотой, и между створками намёрз лёд. В восточном конце галереи двери были заколочены досками крест-накрест.

Хейл уже ждал меня внизу со своей свечой.

Я смотрела на неё, пока шла к нему, и только совсем рядом поняла, что не так. Вчера свеча была высотой в ладонь. Она и сейчас была в ладонь — за целую ночь. Ни капли воска на подсвечнике, ни нагара на фитиле. Я много лет снимала нагар со свечей и знаю, как свеча горит. Эта не горела. Она

просто была.

— Доброе утро, мисс Лисль.

«Лисль» он произнёс так же, как вчера.

— Доброе утро, мистер Хейл. — Я протянула руку к огоньку, к самому пламени. Пальцам было холодно. — Она ведь не тает.

Он приподнял бровь, чуть-чуть.

— Не тает, мисс, и не греет. Она горит с той ночи. — Он помолчал. — Как и я.

— Ясно, — сказала я, потому что надо было что-то сказать. — Кухня вниз и налево?

— Вниз и налево. Кухарка вас не ждёт.

— Кухарки никого не ждут, мистер Хейл.

Мне показалось, что угол его рта дрогнул. Может быть, показалось.

* * *

Кухня была огромная, сводчатая, на сорок человек прислуги, не меньше. Медные кастрюли висели по стенам рядами, позеленевшие, как старые монеты. Длинный стол, выскобленный до белизны когда-то давно. Чёрная чугунная плита во всю стену, холодная, как надгробие.

У плиты стояла женщина.

Полная, в белом чепце и переднике, с половником в руке и мукой на локтях. Она мешала в пустой кастрюле, медленно, по кругу, как мешают соус, который нельзя бросить ни на минуту, и половник скрёб по сухому дну. Мука с её локтей не

сыпалась, сколько она ни мешала. Сквозь её плечо я видела медный бок котла на стене.

Она обернулась. Лицо у неё было круглое, доброе и растерянное, как у человека, который забыл, зачем пришёл.

— Доброе утро, — сказала я. — Я Рен.

— Миссис Таннер, — ответила она, помедлив. Голос был глухой, как из-за двери. — Завтрак подавать не из чего, мисс. Не из чего и не на чем. Милорд ест холодное: хлеб, сыр, ветчину. Раз в три дня мальчишка от булочника из деревни оставляет корзину у ворот, а дальше ворот не идёт.

Она посмотрела на плиту.

Я засучила рукава.

Дрова нашлись в дровяном чулане, сухие, как кость: из них давно ушла последняя капля влаги, я чувствовала это пальцами. Кремень и кресало лежали в ящике буфета, слева, там, где их держат на любой кухне. Лучину я нащепала ножом. Растопку уложила шалашиком, как учила меня в детстве тётя Бесс: «Огню, деточка, нужно дышать, не души его». Ударила раз, другой, а на третий искра упала в стружку, и стружка затлела.

Я подула. Огонёк лизнул лучину, подумал, взялся за неё — и пошёл.

Миссис Таннер подошла ближе и протянула над плитой руки, ладонями вниз. Пламя просвечивало сквозь её пальцы. Она стояла так и смотрела, и ничего не говорила. Я тоже ничего не говорила.

Потом я накачала воды в чайник. Вода в трубе была ледяная и чистая, хорошая вода, глубокая. Поставила чайник на огонь. Плита понемногу начала потрескивать, нагреваясь, чугун тикал, как часы, и по кухне впервые за бог знает сколько лет поплыл запах дыма.

* * *

Сначала пламя легло.

Не погасло — легло, прижалось к углям синими язычками, как собака прижимает уши. Чайник, который уже начинал шуметь, замолчал. По стеклу окна, от рамы к середине, побежал иней, и я услышала, как он хрустит.

Я обернулась.

Он стоял в дверях кухни, без сюртука и без шейного платка, в расстёгнутом жилете, в той же рубашке, что вчера под фраком, только теперь она была смята, — видно, совсем не ложился.

Вчера, при свете бальных люстр, это был лорд из сплетни. Сейчас, в сером свете, в дверях кухни стоял мужчина, который не спал ночь. Тёмная щетина на скулах, волосы упали на лоб. И он был моложе, чем мне казалось. Гораздо моложе.

Больше я, как положено, в лицо ему не смотрела. Я смотрела ниже. Ворот рубашки был открыт, и я смотрела на горло, на ямку между ключицами, где под кожей билась жилка, быстро, как у загнанного. Это оказалось хуже, чем смотреть в лицо. Мне стало жарко, хотя по окну полз иней, и я не могла сказать, от плиты это или нет.

Лицо — краем глаза — было серое, без кровинки. Одной рукой он держался за дверной косяк, и из-под его пальцев по дереву расползался иней.

— Погасите, — сказал он.

Я уже взялась за ведро. Руки слушаются господ быстрее головы, их так учили. Но огонь в плите съёжился, как съёживаются перед ударом, — раньше, чем съёжилась я, — и мне вдруг стало его жалко. Глупо — жалеть огонь.

— Вода почти закипела, милорд.

Он посмотрел на чайник так, словно не видел чайников много лет, а может, и не видел.

— Погасите, — повторил он тише.

Я поставила ведро на пол.

— Это плита, милорд. Огонь дальше плиты не пойдёт. — Голос у меня вышел ровный, будто я говорю с хозяйкой о меню. — Я разжигаю плиты с восьми лет. Ни одна у меня не убежала. Я за ним смотрю.

Он молчал. Миссис Таннер стояла между нами, всё так же держа руки над огнём, и смотрела на него. Иней на окне перестал ползти.

Потом его пальцы на косяке разжались.

— Смотрите, — сказал он и ушёл.

Пламя поднялось обратно. Чайник подумал и снова зашумел.

Я стояла с пустыми руками и только тогда сообразила, что на мне его плащ. Он видел, как девушка из Дома Изольды

в его плаще хозяйничает на его кухне в первое же утро, не спросив. Наверное, на меня он и сердился. Наверное.

Я подошла к косяку. На дереве, там, где была его рука, таяли пять белых полос. Я тронула одну пальцем: под инеем дерево было мокрым.

— Он не на вас сердится, мисс, — сказала миссис Таннер у меня за спиной.

— А на кого?

Она не ответила, отвернулась к плите и снова протянула руки над огнём.

* * *

Чай я пила одна, стоя, из щербатой кружки, которую нашла в людской. Потом пошла во двор: мне нужно было подышать воздухом, где нет его холода.

Снег за ночь лёг толстым слоем, по колено у стен. Мёртвый вяз посреди двора стоял чёрный на белом, и на каждой его ветке лежала белая полоса, как те полосы на косяке. Небо было низкое, бледное. Где-то за стеной каркала ворона, и больше ни звука.

Ворота были открыты.

Вчера ночью я этого не поняла. Тяжёлые створки, окованные железом, стояли распахнутые настежь, и снег намело к ним сугробами: их не закрывали много зим. За ними дорога шла вниз с холма, к замёрзшей реке, а у реки разветвлялась. Одна ветка уходила к столице, другая — на север.

Далеко на севере был посёлок, где пахнет рыбой и смолой,

тётя Бесс, которая шьёт паруса и ворчит, и угол за занавеской в её комнате под крышей. Не своя дверь, но и не чужой веер.

Я стояла у ворот и пробовала мысль уйти к тёте Бесс, как пробуют лёд ногой.

Изольда больше не может мне приказывать — она сама так сказала. Он меня не запер: ворота открыты, и, кажется, ему всё равно, есть я в его доме или нет. Денег у меня нет: всё, что я скопила, осталось на дне сундука в Доме Воды. Но до почтовой станции можно дойти пешком. Тётке можно написать. Можно…

Меня всю жизнь куда-то отвозили: из посёлка в усадьбу, из усадьбы в столицу, вчера — сюда. Ни разу никто не спросил, хочу ли я ехать. А сейчас передо мной была открытая дорога, и некому было даже сказать мне «стой».

Я стояла и не знала, чего хочу.

Я обернулась на замок.

Отсюда он был виден целиком: серый, длинный, с башней над холлом. Левое крыло было живое, хоть и в инее, а правое — сгоревшее: чёрные стены, пустые окна, балки, торчащие из-под снега, как рёбра. И в одном окне, на втором этаже, стояла женщина.

Светлое платье, волосы распущены по плечам — так ходят ночью, когда тебя подняли с постели. Она стояла неподвижно и смотрела во двор. На меня.

Я моргнула. Окно было пустым.

Слуги здесь носят ливреи, даже мёртвые: Хейл во фраке,

миссис Таннер в чепце. Эта была не служанка. Туда ходить не советую, сказал вчера лорд, перекрытия ненадёжны. Хотя какая разница призраку, какие там перекрытия.

Окна чёрные, снег слепит, я не спала полночи. Мне показалось.

И тут на дороге зазвенели бубенцы.

* * *

Карета поднималась к воротам, увязая в снегу. Синяя, с серебром, с гербом Воды на дверце, а на крыше сундуки, привязанные горой. Я узнала её раньше, чем она въехала во двор, и мне захотелось обратно на кухню, к плите.

Дверца открылась. Сначала из неё показалась коробка — круглая, кондитерская, перевязанная розовой лентой. Её вынесли бережно, как выносят из церкви святыню. Потом — сама тётушка Пруденс.

Пруденс Лисль, вдову какого-то троюродного дяди, весь Дом звал тётушкой. Я знала её по летней усадьбе: она приезжала каждый июль, жаловалась на дорогу, на сквозняки и на прислугу и съедала все пирожные, которые находила. Невысокая, круглая, в тёмно-синем вдовьем платье с таким количеством лент, что вдовство казалось праздничным. На шляпке — серое перо и маленькая чучельная птичка с бусинами вместо глаз. Губы поджаты, как завязанный кошелёк, а глаза быстрые, и ничего мимо них не проходило.

— Рен, — сказала она, оглядев меня с головы до ног и остановившись на плаще. — Боже мой. В чём ты стоишь?

— Доброе утро, тётушка.

— Утро! Я выехала затемно. Четыре часа, милочка, по такой дороге, с моей спиной. — Она прижала коробку к груди, посмотрела на замок, на сгоревшее крыло, на вяз и перекрестилась, быстро, мелко, три раза подряд. — Совет назначил меня твоей компаньонкой. Невеста не может жить под одной крышей с мужчиной без старшей дамы из родни. Даже… — она снова посмотрела на чёрные окна, — даже здесь.

Компаньонка от Совета, по требованию Изольды, конечно: Совет не стал бы сам вспоминать о таких вещах на второй день Сезона. Я посмотрела на сундуки на крыше и узнала среди них свой, маленький, с медными уголками.

— Твой, — кивнула тётушка. — Пиппа собирала.

Я не стала спрашивать, что в нём. Я и так знала, чего на дне не будет.

Двери замка открылись. На пороге стоял Хейл со своей свечой.

Тётушка Пруденс увидела сквозь него холл и издала звук, какого я не слышала даже от Селестины. Коробку с пирожными она при этом не выронила, только прижала крепче.

— Добро пожаловать в Эшгрейв, мадам, — сказал Хейл.

Тётушка шагнула назад, ко мне, и, не сводя с него глаз, сунула мне в руку письмо.

Плотная серая бумага, тяжёлая, как ткань. Печати в ряд — синяя, зелёная, белая. И надпись, выведенная писарем, которому платят за красоту букв:

Лорду Сайласу Эшгрейву и мисс Рен Лисль.

Своё имя я до сих пор видела написанным только на метках белья. Здесь оно стояло рядом с его, под печатями Совета, и было вдвое крупнее, чем я привыкла.

Глава седьмая

Сайлас

Дымом запахло на рассвете.

Я не спал: сидел в библиотеке, в том же кресле, где Хейл оставил меня ночью, и смотрел в тёмный камин, а потом в окно, где серело. Запах пришёл снизу, по лестнице, тонкий, древесный, и тело узнало его раньше, чем голова. Мне снова было пятнадцать. Лестница, жар, крик за стеной. Голова твердила, что та ночь давно кончилась и дым идёт из моей собственной кухни, но тело ей не верило.

Как я спустился в кухню, не помню. Помню косяк кухонной двери под ладонью и то, что не мог разжать пальцы.

Она стояла у плиты, в моём плаще, с ведром в руке, рукава засучены до локтя, и руки голые, в саже. Лицо раскраснелось от жара. Волосы, которые вчера были уложены в чуждую ей бальную причёску, за ночь рассыпались, и одна прядь лежала на шее, тёмная на светлой коже. Она смотрела не на меня — на огонь. Огонь, который я придавил, лёг к углям, и она смотрела на него так, будто ей его жаль.

Она сказала, что смотрит за ним. За огнём смотрел я, и только я, днём и ночью, во сне, в карете, на балу. А эта девушка сказала это ровным голосом, каким горничная успокаивает хозяйку, у которой мигрень.

Я ушёл, потому что иначе не знал, что делать. Наверху, в

библиотеке, я долго держал руку над пустым камином и ничего в нём не зажигал. Ладонь помнила косяк. Глаза помнили другое — сажу на её запястье и прядь на шее, — и это мне не нравилось больше, чем дым.

Потом во дворе раздался визг, и я пошёл встречать посланца Совета.

* * *

Посланцем Совета оказалась дама лет шестидесяти, круглая, как пуговица, в синем, с птичкой на шляпе и с коробкой пирожных, которую она прижимала к груди, как щит. Хейл, стоя у дверей, сообщал ей, что её сундуки отнесут наверх. Дама смотрела, как мой лакей Тимс, долговязый, в парике, который съехал набок в ночь пожара и с тех пор так и не встал на место, поднимает её сундук — медленно, будто тот набит камнями, — и уходит с ним по лестнице, и тихо, но непрерывно молилась.

— Леди Пруденс Лисль, — сказала мисс Лисль, присев, не глядя ни на кого из нас. — Моя тётушка. Совет назначил её компаньонкой.

Пруденс Лисль увидела меня и перестала молиться.

Я поклонился, она присела в реверансе. Потом её взгляд упал на плащ мисс Лисль, и я прочёл на её лице всю историю, которую она к вечеру отправит Изольде.

— Милорд, — сказала она. — Совет поручил мне вашу невесту. Пока я в этом доме, она не останется с вами наедине за закрытой дверью.

— Разумеется, мадам.

Через четверть часа она лежала в зелёной гостиной с мигренью: Хейл предложил ей шаль, и шаль подал Тимс. Перед тем как закрыть глаза, она потребовала, чтобы дверь библиотеки оставалась открытой. Я оставил её открытой. Из неё тянуло холодом на весь коридор, и, наверное, это тоже можно было считать присутствием компаньонки.

* * *

Мисс Лисль села на край кресла напротив, как садятся, когда в любую минуту могут позвать. Плащ она сняла и держала на коленях, сложенный вчетверо: чужая вещь, которую сейчас вернут. Глаза — в стол.

Я мог смотреть на неё сколько угодно: она бы не заметила. И я смотрел, потому что в этом доме давно не на что было смотреть.

Вчера на балу она была тенью за плечом кузины, в чужом платье и чужой пудре. Пудра за ночь сошла, и под ней оказались веснушки, по переносице и по скулам, золотистые, будто девочкой её когда-то оставили на солнце и забыли. Шея, склонённая к столу, была тонкая, и под ухом из причёски выбилась прядь. Рот она держала по-служански сжатым, но нижняя губа была полнее, чем полагается для покорности.

После пожара в этом доме не жила ни одна живая женщина. Я привык этого не замечать. Тело, оказывается, не привыкло. Огонь внутри повернулся к ней, как поворачивается пламя свечи к открытой двери, и я сжал его. На окне за её

спиной иней пошёл новым узором.

Девушка из Дома Изольды. Я напомнил себе это и сломал печати.

Совет, рассмотрев вчерашнее, извещал. Помолвка лорда Сайласа Эшгрейва и мисс Рен Лисль признана заключённой по Конкорду с минуты вальса. Дом Эшгрейв даёт бал Самой Длинной Ночи в собственном замке и принимает у себя Совет и весь свет. Венчание назначено на рассвет после бала. Тогда же Совет, собравшись там же, рассудит голосованием, исполнено ли условие; если исполнено, покаяние с Дома снимается. Компаньонкой невесты назначена леди Пруденс Лисль. Условия брачного договора, буде таковой заключён, надлежит представить в Совет до исхода первой недели Сезона.

Писарь был хороший: ни одной лишней запятой, ни слова о том, что этой помолвки не должно было случиться никогда.

Я дочитал вслух и положил письмо на стол. Она смотрела на него, не на меня.

— Весь свет, — сказала она. — Это сколько?

Она нашла дыру с первого раза. Я ждал любого вопроса, кроме этого.

— Столько, сколько Совет согласится так назвать. Конкорд числа не пишет. Приедет десяток семей, и Земля скажет, что это был не весь свет, а ужин в узком кругу.

— А если приедет много?

— Тогда им будет неудобно. Совет может сказать что

угодно, когда его слышат трое. Когда в зале полсотни семей и каждая завтра разнесёт услышанное по всем гостиным Сейнмора, это труднее.

— Сколько нужно, чтобы стало неудобно?

— Сорок.

— Значит, сорок.

— Значит, ни одной, — сказал я. — Со времён Конкорда ни одна семья не приехала к Пеплу на бал. И судить, исполнено ли, будут не гости. Изольда — против, это вы знаете лучше меня. Торнбери — против: моё золото работает в его банке, и отдавать его он не захочет. Миранда Авенел проголосует туда, откуда дует, а дует сейчас от Земли. Даже если сюда приедет весь Сейнмор, на рассвете они найдут формулу. Совет всегда находит формулу.

Я говорил ровно. Чернила в чернильнице между нами подёрнулись льдом, и я видел, как у неё изо рта идёт пар.

— Вы не верите, что покаяние снимут, — сказала она, а не спросила.

В комнате было тихо, дверь в коридор стояла открытой, Пруденс Лисль спала под шалью мертвеца, и я почему-то ответил честно.

— Ещё вчера утром я знал, чем кончится мой Дом. Мной. Я полжизни искал в Конкорде ход и нашёл только оговорку, на которую никто никогда не согласится. Я собирался прожить здесь, сколько проживу, без жены, без наследника — чтобы покаяние кончилось вместе со мной и некого было

водить через этот зал. Пусть пепел ляжет вместе с последним Эшгрейвом, и дело с концом. Потом вы сказали «да», и на одну ночь я забыл, где живу. — Я кивнул на письмо. — Утром мне напомнили.

Она смотрела на чернильницу.

Не на меня, не мне в лицо, где, наверное, нечего было читать. На лёд. И молчала так долго, что я успел решить: она услышала не слова, а холод, и холод сказал ей что-то своё, худшее. Я не знал что.

— Чернила замёрзли, милорд, — сказала она наконец.

Я взял чернильницу и отодвинул от себя — на её край стола, подальше. Там, через минуту, лёд на чернилах потемнел и сошёл.

Она посмотрела на оттаявшие чернила. Потом, на один миг, — на меня.

Глаза у неё были серо-зелёные, светлые, как вода на мелководье. Я успел это увидеть, прежде чем она снова опустила глаза.

* * *

— Карета запряжена, — сказал я. — Бойд, мой кучер, отвезёт вас, куда скажете. Он мёртв, но дорогу помнит лучше живых. Совет не может держать вас здесь до венчания, и я не стану. Это не выиграть, мисс Лисль. Вас не за что держать.

Её пальцы на сложенном плаще замерли.

— А если выиграть?

Я ждал другого: «Благодарю, милорд, я поеду», реверанс,

шаги по коридору. Всё в ней было к этому готово — плащ на коленях, край кресла.

— Здесь нечем выигрывать. Дом мёртв. Слуг девять, и все мёртвые.

— Живых можно нанять: объявление в «Вестник», телега со станции, жалованье выше обычного.

— К Пеплу служить не пойдут.

— Пойдут те, кого больше никуда не берут. Таких в Сейнморе полгорода. — Она сказала это в стол, быстро, будто боялась, что я перебью. — Я знаю, милорд. Я сама из них.

— Денег — только то, что выдаёт мне Земля. На жизнь хватит, на бал нет.

— На жизнь — это уже начало. Бал — потом.

— И голосовать будут трое, мисс Лисль, и все трое против. Это не кастрюли, их не отмоешь.

— Голоса — это ваше. Я в голосах не понимаю. Я понимаю в домах: в кастрюлях, окнах и простынях. — Она помолчала. — У вас шесть недель на трёх человек, у меня — на целый дом. Кому из нас хуже?

— Вы видели Совет один раз, из-за плеча кузины, — сказал я резче, чем хотел. — Сорок семей не поедут к человеку, который сжёг свою семью.

И тут она подняла глаза. Не на миг: она смотрела прямо на меня и, кажется, забыла, что так нельзя.

— Поедут. Посмотреть. Вчера весь зал ждал спектакля, вы сами видели. Сорок семей не поедут на бал к Пеплу. Со-

рок семей поедут на скандал. — Она встала. По-моему, сама этого не заметила. — А увидят бал.

И пошла по моей библиотеке, мимо шкафов, к окну и обратно, и говорила на ходу, и пар шёл у неё изо рта, а она не замечала и этого. Так ходят дети, которым пообещали новую игру: быстрее, чем нужно, и всё время чуть впереди самих себя.

— Сорок семей — это сорок карет. Я все балы Лислей видела с чёрного хода. При каждой кучер, лошади, лакей, горничная. Их надо где-то разместить и чем-то кормить, а в вашей огромной кухне нет ни одной целой кастрюли, я смотрела. Зала у вас за лестницей, я видела двери. Люстры там есть? Если есть, их можно отмыть, хрусталь отмывается уксусом и газетой. Свечи — это деньги, но свечи — потом. Сначала окна, иначе в доме не видно, что мыть. Сначала окна, потом кухня, потом люди, потом…

Она остановилась посреди комнаты с поднятой рукой, будто загибала пальцы в воздухе.

По этой библиотеке давно не ходил никто, кроме меня. И никто здесь так быстро не говорил. Где-то между кастрюлями и люстрами разговор перестал быть моим: я ещё спорил, а она уже распоряжалась моим домом.

— Вы понимаете, что это почти безнадёжно? — сказал я.

— Понимаю. Только посчитайте. — Она опустила руку. — Вы собирались умереть здесь один, в холоде, без огня. Если мы проиграем, худшее, что с вами случится, — вы умрёте

здесь один, в холоде. Только в чистом доме.

Я засмеялся.

Это вышло само, хрипло. Я не помнил, когда смеялся в последний раз, и смех вырвался раньше, чем я успел его удержать, а следом за ним — тепло: не огонь, просто тепло, как от печи за стеной. Иней на окне за её спиной поплыл вниз мокрыми полосами, и по стеклу побежала вода.

Она оглянулась на окно, потом на меня и, кажется, только теперь опомнилась: стоит посреди библиотеки лорда и объясняет ему, как вести его собственный дом. Краска залила её от шеи до корней волос.

Она вернулась к креслу и села. Не на край.

— Сорок, — сказал я. Голос был чужой, живой. — Значит, сорок.

— Если я остаюсь, милорд, я хочу, чтобы всё было записано.

* * *

Я придвинул к себе лист. Она — по привычке, я думаю, — подала мне перо, прежде чем я за ним потянулся. Наши пальцы встретились на нём.

Её пальцы были горячие. После плиты, после кипятка, живые, и это тепло прошло у меня по руке до локтя и дальше, под рёбра, и огонь внутри рванулся ему навстречу так, что у меня потемнело в глазах. Она не отдёрнула руку, как отдёргивают все, кто меня касается. Отдёрнул я. По столу от моей ладони побежал иней и остановился в дюйме от её пальцев.

Она посмотрела на иней и убрала руки на колени: решила, наверное, что мне противно её касаться. Пусть. Это было безопаснее правды.

— Брак на бумаге, — сказал я. — Мы венчаемся, потому что этого требует Конкорд. После Сезона — отдельные жизни. Вы получаете содержание, пожизненно. Достаточное, чтобы ни от кого не зависеть.

Она повторила одними губами: «ни от кого». Я записал.

— Из каких денег, милорд?

— Мои деньги с восстания лежат в банке Земли. По Конкорду Земля выдаёт опальному Дому содержание — ровно столько, чтобы последний Эшгрейв не умер с голоду на глазах у света. Торнбери отсчитывает его раз в квартал и каждый раз с таким видом, будто подаёт из своего кармана. Я ем холодное и не топлю, мне хватало. — Я поднял на неё глаза. — Если покаяние снимут, состояние разморозят. Тогда ваше содержание будет таким, какое вы назовёте.

— Тогда покаяние придётся снять, — сказала она так, словно речь шла о пятне на скатерти. — Теперь мои условия.

— Слушаю.

— Отдельные спальни.

— Разумеется.

— Никакой лжи.

Перо остановилось над бумагой на полвдоха, не дольше.

Есть обычай старше Конкорда: жена, которая живёт отдельно от мужа, возвращается под опеку Дома, где родилась.

Её деньги, её крыша и она сама снова принадлежат родне. Ни в Конкорде, ни в брачных статьях этого нет, и обычай давно никто не поднимал: жёны Великих Домов от мужей не уходят. Но Совет чтит всё, что старше его самого. Девушке из людской знать об этом обычае неоткуда. Через шесть недель мы разъедемся, как записано, и «отдельные жизни» вернут её Изольде при всём Совете, как возвращают в лавку порченый товар. Весь свет увидит, как Вода принимает назад отвергнутую дочь, — пятно на Доме Изольды и на брачном рынке её драгоценной Селестины. Изольда прислала мне шпиона. Я верну ей брошенную жену. Сделка честная, если смотреть моими глазами.

Девушка напротив слышала в моём условии свободу. Это было видно по тому, как она повторила «ни от кого».

На миг мне стало нехорошо, как бывает, когда в споре находишь ход и он оказывается подлее, чем хотелось. Я напомнил себе, из чьего она Дома и кто стоял у королевской ложи, пока она говорила «да». Это помогло. Почти.

Я её не поправил. Я записал «никакой лжи» своей рукой, ровным почерком, каким переписывают статьи, и это было первое, что я нарушил.

— Третье, — сказала она. — Я веду дом.

— Я уже согласился, что дом на вас.

— Вы согласились, что на мне работа, милорд. — Она смотрела в стол, но голос был твёрдый. — Я говорю о ключах: слуги, кухня, бельё, счета, бал. Кто где спит, кто что ест,

сколько свечей на какую люстру. Вы — Совет и политика. Я — всё, что под этой крышей. И чтобы в мои дела вы не входили без спросу, как я не вхожу в ваши.

— Вы уже вошли в мою кухню без спросу.

— Это была моя первая ошибка, милорд, — сказала она с совершенно невинным лицом. — В договоре её не будет.

Засмеяться второй раз за утро я себе не дал: хватит с неё и одного. Но угол рта дёрнулся, и я наклонил голову к бумаге, чтобы она этого не увидела.

— Ведите, — сказал я и записал.

Шпиону Изольды я только что отдал ключи от своего дома. Пусть. Шпион, который ведёт хозяйство, всегда на виду.

— А вы, милорд? — спросила она. — Что делаете вы, пока я веду дом?

— Нахожу деньги, пишу в Совет, добиваюсь, чтобы приезд к Пеплу сочли честью, а не риском для репутации.

— Это труднее, чем кастрюли.

— Не уверен, — сказал я. — Я видел вашу кухню.

Она чуть наклонила голову, будто решала, можно ли на это ответить, и решила, что нельзя. Потом, глядя в стол:

— Можно спросить, милорд? Раз уж никакой лжи.

— Спрашивайте.

— Вчера вы видели, что перед вами не мисс Селестина. Вы могли поклониться и уйти, и все бы поняли. Почему вы протянули руку?

Я снова увидел всё, как вчера, разом: оговорку, вписан-

ную мелким почерком победителей, а над ней, у королевской ложи, лицо Изольды Лисль, на котором что-то дрогнуло.

— Первый шанс почти за век снять покаяние, — сказал я.

Вторую половину ответа — что передо мной стояла кровь Изольды и я впервые мог у неё что-то взять — я оставил там же, где держу огонь.

— Понятно, — сказала она. — Значит, мы хотим одного и того же.

— Похоже на то.

* * *

Я подписал первым. Она взяла перо, обмакнула в оттаявшие чернила на своём краю стола и вывела мелко, старательно, каждую букву отдельно: *Рен Лисль*. Так подписываются люди, которым редко приходится подписываться. Под её именем осталось много пустого места.

Я посыпал подписи песком и сложил лист. Завтра он уйдёт в Совет вместе с помолвкой, и Изольда прочтёт его раньше, чем остынет сургуч. Я рассчитывал на это: пусть до конца Сезона знает, чем всё кончится для её Дома, и ничего не может сделать. Я столько лет ждал, когда смогу так подумать об Изольде. Подумал — и посмотрел на мелкие буквы «Рен Лисль» и пустое место под ними. Удовольствия не было. Я списал это на бессонную ночь.

— Хорошо, — сказал я.

Она поднялась, положила мой плащ на ручку кресла — аккуратно, рукавами внутрь — и присела — низко, по всем

правилам.

— Да, милорд.

И ушла, не поднимая глаз.

Я сидел и слушал, как её шаги удаляются по коридору, мимо открытой двери гостиной, где храпела компаньонка Совета. Глаза в пол и «да, милорд». Так отвечают от страха. Так отвечают и тому, кого презирают, — гладко, чтобы не к чему было придраться.

Я перебрал оба ответа, страх и презрение, и ни один не подходил: тот, кто боится, не ходит по моей библиотеке, загибая пальцы в воздухе.

Плащ на ручке кресла ещё хранил её тепло. Я заметил, что держу на нём руку, только когда в дверях появился Хейл и вежливо посмотрел мимо.

Глава восьмая

Рен

Я так и не поняла, в какую минуту решила остаться. Наверное, когда он ровным голосом сказал «это не выиграть». Меня всю жизнь ставили на дела, не спрашивая, выйдет ли из них что-нибудь. А тут мне предлагали уехать, и я вдруг увидела этот дом целиком, от погреба до люстр, — не с изнанки, как все дома в моей жизни. На шесть недель он мог стать моим. Пока я стояла с чужим веером за плечом кузины, о таком нечего было и думать.

Деньги он выдал мне в тот же вечер, в кожаном кошельке, тяжёлом и мягком, как спящий кот.

Я разложила их у себя в комнате столбиками на покрывале. Жалованье слугам на весь Сезон — хватит. Мука, масло, мясо, свечи для жизни — хватит. Кастрюли — если брать подержанные у старьёвщиков в порту — хватит. Бал на сорок семей, с вином, музыкантами, сотнями свечей и овсом для двухсот лошадей, — не хватит и на четверть. Я сложила монеты обратно и решила пока об этом не думать. О том, что нельзя решить сегодня, лучше думать завтра: так говорила тётя Бесс.

Смету я написала на обороте старой счётной книги, которую нашла в людской. Мелко, по графам, как в усадьбе вела экономка: что, сколько, почём, кому. Отнесла в библиотеку.

В библиотеке было холодно, как в погребе. Я заметила это ещё в коридоре: медная ручка двери обросла инеем. Он сидел за столом, над какими-то письмами, в одной рубашке, будто холод в комнате был не для него, и поднял голову, только когда я положила смету на край, подальше от него.

Он прочёл её всю: не пробежал глазами, как господа читают счета, — прочёл, строку за строкой, водя пальцем по графам. Я стояла и смотрела на этот палец, потому что больше смотреть было некуда. Длинные пальцы, пятно чернил на среднем, кольцо печаткой внутрь. Палец шёл по моим графам медленно, будто читал не цифры. Я поймала себя на том, что думаю, какие эти пальцы на ощупь, и разозлилась так, что у меня загорелись уши.

— Объявление в «Вестник», — сказал он. — «Призраков не бояться». Это обязательно?

— Честнее сразу, милорд. Иначе наймутся, увидят Тимса с сундуком и сбегут к вечеру, а жалованье за день уже будет уплачено.

Он кивнул и повёл палец дальше. Потом палец остановился.

— Дрова, — прочёл он. — Кухня. Людская. Комнаты прислуги. Гостиная леди Пруденс. — Он поднял на меня глаза. — Ваша комната — последней строкой. «По остатку».

— Да, милорд.

— Почему?

— Потому что я в ней только сплю.

Я сказала это, и у меня изо рта шёл пар. Он смотрел на этот пар. Потом — на губы, откуда он шёл, и не отвёл глаза сразу, как отводят господа, когда случайно посмотрят на прислугу. Я чувствовала его взгляд на губах, как тепло свечи, поднесённой слишком близко.

— Вам не холодно?

— Я привыкла, милорд.

— К чему?

— К холоду. Я спала в каморке при гардеробной, там не топят.

Он ничего не ответил, опустил глаза в смету, обмакнул перо и подписал внизу, не исправив ни строчки. Я забрала смету и ушла, держа её за уголок, чтобы не помять.

Я не понимала его. Он спросил, не холодно ли мне, и ничего не исправил в смете. И зачем-то смотрел на мои губы.

Я решила об этом не думать. На лестнице я поймала себя на том, что трогаю губы пальцами, и решила не думать ещё твёрже.

* * *

Объявление вышло в «Сейнморском вестнике» в четверг. Я писала его сама: *«В замок Эшгрейв требуются кухарка, лакеи, горничные, судомойка, швея. Жалованье выше обычного. Призраков не бояться»*. Тётушка Пруденс, прочитав, сказала, что ни один приличный человек на такое не придёт.

Она была права. Приличные не пришли.

Пришли другие. Их привозила телега с почтовой станции,

по двое, по трое, весь следующий день и после него. Половина развернулась во дворе, едва Хейл открыл двери. Одна девица ушла пешком, не дожидаясь телеги, и я видела из окна, как она бежит под горку, придерживая шляпку. Бывший солдат с деревянной ногой предложил мне свои услуги, «и не только по хозяйству», и Хейл проводил его до ворот.

Я принимала их в людской, за длинным столом, и всем задавала один вопрос. Я сама не знала, откуда он взялся. Меня за всю жизнь спрашивали о многом: умею ли я гладить кружево, где ленты кузины, почему так долго. О том, чего хочу я, — никогда. Я полночи повторяла этот вопрос в темноте, а задавала его всё равно тихо, глядя в стол, и руки держала на коленях, чтобы не было видно, как они дрожат.

Миссис Кроу приехала со своими ножами, завёрнутыми в полотенце. Она была большая, краснолицая, с руками, которыми можно месить тесто на целый полк, и с голосом, от которого звенели позеленевшие кастрюли на стенах. Рекомендаций у неё не было. Когда она вошла, я привстала, как встают перед старшей кухаркой, и села обратно, надеясь, что она не заметила.

— С кухни Торнбери меня выставили, — сказала она, не дожидаясь вопроса. — Опрокинула суп на хозяйского сынка.

— Нечаянно?

— Горячий, — сказала миссис Кроу. — Нарочно. Он полез к судомойке.

Я смотрела не на неё, а на ножи в полотенце, и всё равно

знала, какая у неё кожа. Мой дар, тот, что годился только для прачечной, достаёт недалеко: так пальцы, не дотрагиваясь, знают, досохло ли бельё на верёвке. Миссис Кроу была сухая, как мука в ларе. Про суп она не врала.

— Чего вы хотите, миссис Кроу?

Она открыла рот, чтобы сказать о жалованье, закрыла его и посмотрела на меня, будто я спросила что-то неприличное.

— Кухню, — сказала она наконец, — где мне никто не лезет под руку. А моим девчонкам — под юбку.

— Кухня ваша.

Тоби Эйвери был молодой, худой и такой учтивый, будто выучил книгу об этикете наизусть и боялся пропустить страницу. Он кланялся, когда входил, кланялся, когда садился, и покраснел, когда я предложила ему чаю. При нём было письмо от матери. Мать писала, что сын её из хорошего рода, Дома Воздуха, что он прилежен, честен и непьющий, а дар у него, к несчастью, очень слабый — хватает разве что задуть свечу через комнату, — и потому семья полагает, что ему лучше служить. Письмо читалось как извинение.

— Чего вы хотите, мистер Эйвери?

— Служить честно и усердно, мисс.

Письмо его матери лежало у меня под ладонью, и на «честно и усердно» мне почудилось, что бумага отсырела. Отсырела не бумага: это у него на висках выступила влага, и дар принёс её мне в пальцы через весь стол. Он и до того был влажный от робости, но тут влаги стало больше. Не ложь, но

и не вся правда.

— Это вы хотите, чтобы я услышала. А вы?

Он покраснел так, что покраснели даже уши.

— Чтобы меня хоть раз поставили у парадных дверей, мисс, — сказал он в стол. — Дома меня ставят у чёрного хода. Когда гости.

— У нас будут гости, — сказала я. — Сорок семей.

Нелл пришла пешком, без телеги и без рекомендаций, в мальчишеской куртке поверх юбки. Ей было, может, семнадцать: острое лицо, коротко обрезанные тёмные волосы и глаза, которые за минуту обошли всю людскую и пересчитали, что в ней стоит. Пока она садилась, мой напёрсток исчез со стола. Я протянула руку ладонью вверх. Нелл ухмыльнулась и положила напёрсток мне в ладонь.

— Проверяла, — сказала она. — Хозяйки обычно не замечают.

— Я не хозяйка. Я десять лет следила, чтобы у кузины не пропадали шпильки.

— Тогда понятно.

— Чего ты хочешь, Нелл?

— Жалованье вперёд.

— А по правде?

Она прищурилась.

— По правде — жалованье вперёд, — сказала Нелл. — И чтоб меня не спрашивали, чего я хочу.

Я отсчитала ей жалованье за неделю вперёд. Она пересчи-

тала монеты, попробовала одну на зуб и посмотрела на меня так, будто я сделала глупость, которую она пока не поняла.

Мисс Пим приехала последней, в платье старого безупречного покроя, прямая, как портновский метр. Ей было за шестьдесят. Много лет она шила при дворе, а потом ей сказали, что глаза уже не те, и отдали её место той, что помоложе. Она села, посмотрела на меня поверх очков и сказала:

— Левый рукав у вас вшит на палец ниже правого, мисс. Перешивали из чужого.

— Из кузининого.

— Видно, — сказала мисс Пим без всякого сочувствия.

Я открыла рот, но мисс Пим подняла палец.

— На станции мне сказали, что вы всех спрашиваете, чего они хотят. Отвечу сразу, чтобы не тратить ваше время. Работы. В моём возрасте хотеть чего-то ещё неприлично. — Она помолчала и поправила очки. — И чтобы мне больше не говорили, что глаза уже не те. Глаза у меня те.

— Я вижу, — сказала я и показала на свой рукав.

* * *

Живые слуги боялись мёртвых, а мёртвые презирали новеньких.

В первый же вечер Тоби, неся поднос по коридору, прошёл сквозь лакея Тимса и уронил поднос вместе с чашками. Нелл держала нож за подвязкой и не расставалась с ним даже за ужином. Миссис Кроу и миссис Таннер не поделили плиту: живая кухарка гремела кастрюлями, мёртвая стояла

у неё за плечом и говорила глухим голосом, что при старой хозяйке соус так не загущали. Миссис Кроу крестилась половником и загущала по-своему.

А Хейл смотрел на всех новеньких, как на грязь, которую принесли на сапогах в чистый холл. Он не отвечал, где лежит серебро. Не отвечал, какой ключ от бельевой. Он отвечал «да, мисс» и «нет, мисс» и при этом умудрялся выглядеть так, будто держит нос зажатым.

Я смотрела на это несколько дней и однажды вечером пришла к нему в буфетную. Серебро так и лежало в кладовой под замком, завёрнутое в сукно, а Хейл стоял у пустых полок, где оно когда-то стояло. Он касался пальцами пыльных кругов на сукне, одного за другим, и шевелил губами. Считал.

— Мистер Хейл, — сказала я. — Можно вас спросить?

— Как угодно, мисс.

— Чего вы хотите?

Он остановил руку над пыльным кругом.

Я ждала. В буфетной было тихо, только где-то наверху гремела Нелл, а на кухне миссис Кроу кричала на кого-то из живых.

— Чтобы в этом доме снова накрывали на стол, мисс, — сказал Хейл. — Как следует, на скатерть, с серебром. Чтобы было кому. — Он посмотрел на пыльные круги. — Нас девять, мисс, а дом рассчитан на сорок. И мёртвому каждое дело даётся, как живому мешок муки на спине. Сундук го-

стю поднять мы можем, а мыть полы во всём доме — нет.

— Тогда научите их, — сказала я, — Тоби, Нелл, всех, кого я ещё найму. Как было при старой хозяйке: как накрывать, как подавать, где серебро. Они живые, у них руки, а вы знаете этот дом. Я его не знаю, как и они, мистер Хейл. Научите и меня.

Он долго смотрел на меня, потом выпрямился — хотя, казалось, прямее было некуда, — и свеча в его руке встала ровно.

— Как прикажете, миледи.

Так меня называли один раз в жизни: лорд, на балу, и тогда это было сказано перчатке. Я кивнула как ни в чём не бывало и вышла из буфетной почти бегом.

На следующее утро Тоби ходил за Хейлом по пятам с блокнотом и записывал, с какой стороны подают суп. Миссис Таннер диктовала миссис Кроу рецепт пирога с кардамоном, который пекли при старой хозяйке на Самую Длинную Ночь, и миссис Кроу ворчала, но записывала. Нелл спросила у Тимса, больно ли было умирать, и Тимс, подумав, ответил, что не помнит.

Я тем временем учила замок с изнанки: служебные коридоры, чёрные лестницы, двери в стене за гобеленами, по которым слуги ходят невидимыми и успевают везде раньше всех. К концу недели я могла пройти от кухни до любой спальни, ни разу не выйдя на парадную лестницу.

* * *

В бальную залу я вошла в конце недели.

Двери за лестницей пришлось отбивать: лёд намёрз между створками, и Тоби бил по нему поленом, краснея от усердия, пока створки не разошлись с треском, как река в ледоход. Изнутри дохнуло холодным камнем и старым воском.

Там было темно: ставни закрыты. Я пошла через темноту к окну, и шаги уходили куда-то вверх и возвращались не сразу. Я нащупала засов и толкнула ставню.

Свет упал внутрь, и я забыла, зачем пришла.

Зала была выше, чем во дворце. Потолок уходил так высоко, что роспись на нём терялась в тени: какие-то крылья, какое-то золото, облака. Вдоль одной стены шли окна от пола до карниза, и я открыла только одно. Вдоль другой — зеркала в рост, в золочёных рамах, и в каждом, сквозь иней, отражалось это одно открытое окно, так что казалось, будто светлых окон целый ряд. С потолка на цепях висели люстры, каждая с карету, в серых чехлах. На сквозняке от открытой ставни под чехлами звякнул хрусталь — тихо, как будто кто-то тронул струну и сразу прижал её пальцем.

А пол был паркетный, из светлого и тёмного дерева, и даже сквозь пыль было видно, как ложится узор: кругами, от середины к стенам, один круг в другом, как расходится вода от брошенного камня.

Здесь танцевали. Здесь горели сотни свечей, и под этими люстрами кто-то смеялся, кто-то в первый раз брал кого-то за руку. А потом ставен никто больше не открывал.

Я стояла посреди пустой залы в переднике, с тряпкой в руке, и не могла сдвинуться с места.

— Здесь встречали Самую Длинную Ночь, миледи.

Хейл стоял у двери со своей свечой. Я не слышала, как он вошёл: он никогда не входил так, чтобы было слышно.

— В полночь гасили весь свет, как везде, — сказал он. — А потом старый милорд сам зажигал его снова. Поднимал ладонь — и вспыхивало всё разом: люстры, лампы по стенам, а на дальней стене, над оркестром, — крылья. От пола до потолка.

— Для гостей?

— Гостей не было, миледи. С прадедовых времён ни одной кареты. — Он посмотрел на тёмную стену. — Танцевали свои. Старый милорд с супругой, молодой милорд с сестрой: она стояла у него на ногах. Мы — у стен. Оркестр брали в деревне, три скрипки, и играли они, по правде сказать, дурно.

Потом я начала считать. Сколько свечей. Сколько стульев. Сколько пар.

* * *

Тётушка Пруденс объявила замку войну, как только в нём завелись живые слуги.

Я застала её на кухне за чаем с новыми горничными, которых я наняла в деревне под холмом. Тётушка говорила вполголоса, девушки сидели с круглыми глазами.

— …по ночам, — говорила тётушка. — В одной сорочке, волосы распущены, вся обгоревшая. Ищет своих детей. Кого

встретит в коридоре, того…

Она увидела меня и умолкла. Я ничего не сказала. Я думала о женщине в окне сгоревшего крыла — о светлом платье и распущенных волосах, — и мне стало холодно, хотя плита горела вовсю. Обгоревшей та не была: это я разглядела бы даже издалека. Хейла я в первый же день спросила, кто живёт в сгоревшем крыле. «Никто, мисс», — ответил он, и было видно, что он не лжёт. Тогда же я спросила, почему в замке остались одни слуги: хозяева ведь погибли в ту же ночь. «Не знаю, мисс, — сказал Хейл. — Хозяев я с той ночи не видел».

Наутро обе девушки взяли расчёт.

Ключ от бельевой пропал со связки Хейла и нашёлся в сахарнице. Из кладовой у миссис Кроу пропадали пирожные, и миссис Кроу ходила по дому с половником и говорила, что знает, чьих это рук дело.

А потом начали пугать саму тётушку. Кто-то задувал ей свечу — живую, из ящика, который она привезла из Сейнмора. Кто-то завязывал узлом её чулки, сложенные на стуле. Тётушка жаловалась за завтраком и смотрела на Нелл.

На третью ночь меня подбросило в постели от крика.

Кричали так, что я выскочила в галерею босиком, в одной сорочке, со свечой, и только там поняла, что не взяла даже шали.

Галерея наполнялась. Из служебной двери вылетела Нелл в куртке поверх рубашки, с ножом, а за ней — миссис Кроу

в папильотках, с половником наперевес. Тоби в ночном колпаке держал перед собой кочергу, как шпагу, и было видно, что держать кочергу как шпагу его учили, а драться ею — нет. Из стены, там, где не было никакой двери, вышел Хейл, во фраке и со свечой.

Тётушка стояла на пороге своей спальни в сорочке и чепце, белая, и держала двумя пальцами за хвост птичку со своей шляпки.

— На подушке! — сказала она. — Клювом ко мне! Я открываю глаза, а она на меня смотрит!

— Мадам, — сказал Хейл, — она чучело.

— Я знаю, что она чучело, Хейл! Я спрашиваю, кто её туда посадил! — Птичка повернулась клювом к Нелл. — Это она, девчонка из портов. Воровка.

— Я была на кухне, — сказала Нелл. — У меня свидетели.

— Была, — подтвердила миссис Кроу. — Пирожные ела. Мои.

Тут свечи в галерее разом сникли и посинели, и все замолчали.

Он стоял наверху лестницы, в рубашке и брюках, босой, как и я, волосы встрёпаны, если он вообще спал. Он посмотрел на тётушку, на птичку, на Нелл с ножом. Потом на меня.

Я стояла в одной сорочке, свеча светила снизу, и я вдруг поняла, сквозь что она светит. Он тоже это понял. Он смотрел на меня не дольше вдоха, а потом стал смотреть на портреты, очень внимательно, будто увидел их впервые, и по сте-

не у него за спиной побежал иней.

— Милорд! — Тётушка закрыла меня собой и шалью разом. — Моя племянница не одета!

— Вижу, мадам, — сказал он портретам. — Вы тоже.

Тётушка посмотрела на свою сорочку, взвизгнула и исчезла за дверью вместе с птичкой. Миссис Кроу фыркнула в половник.

Он повернулся ко мне — точнее, к портрету у меня над головой.

— Это ваш дом, мисс Лисль. Распоряжайтесь.

И ушёл вниз, не взглянув больше ни разу.

Все смотрели на меня. Я стояла босиком, в сорочке и чужой шали, и открыла рот, чтобы сказать, что я не… — и закрыла его.

— Миссис Кроу, Нелл — спать. Тоби, поставьте кочергу на место. Мистер Хейл, отнесите тётушке свечу. Живую.

— Да, миледи, — сказал Хейл.

Они разошлись. Я стояла в пустой галерее и слушала, как внизу затихают его босые шаги по камню. Ноги у меня закоченели, а щёки горели, и это было уже совсем глупо.

Утром я спросила Нелл про птичку, и у Нелл было такое честное лицо, какого у неё не бывало, даже когда она говорила правду.

* * *

Когда я уже никого не ждала, телега привезла женщину, которую я узнала раньше, чем она сняла капор.

Горничная леди Изольды, с острым бледным лицом, похожим на вязальную спицу, та самая, что на заднем балконе Дома Воды смотрела вслед карете Пепла и плюнула через плечо.

Она сказала Хейлу, что пришла наниматься. Я приняла её в людской, как всех, и она села, как все, только смотрела не в стол, а мне в лицо, прямо. Так смотрят на свою.

— Миледи не получила от тебя ни строчки, — сказала она тихо, когда Тоби вышел с подносом.

Так и было. Изольда велела писать ей каждую неделю, и неделя прошла. Я не решала не писать, просто каждый вечер находилось, чем занять руки, и каждый вечер я этому радовалась.

— Миледи велела передать, — продолжала горничная. — Если бала не будет, ты вернёшься в Дом. Не прислугой. Дочерью. Своя комната, место за столом, приданое. Миледи умеет быть щедрой к тем, кто ей помогает.

Своя комната.

Я сидела и смотрела на свои руки на столе. Они были красные от горячей воды и щёлока: я неделю отмывала этот дом. Своя комната с дверью, которая закрывается изнутри. Изольда знала, сколько у меня в чулке. Догадаться, на что копит прислуга, нетрудно: мы все копим на одно и то же.

— Ответ миледи ждёт через леди Пруденс, — сказала горничная. — Можно без письма, просто скажи тётушке «да».

Я подняла голову.

— Вы не подходите на место, — сказала я. — Мистер Хейл проводит вас до телеги.

Она посмотрела на меня ещё секунду, будто ждала, что я передумаю, потом встала. В дверях стоял Хейл со своей свечой, и горничная прошла мимо него, прижимаясь к косяку, чтобы не задеть даже полой.

Ответа я не дала ни ей, ни тётушке.

* * *

Той ночью я не могла уснуть и спустилась в холл.

Холл днём отмыли Нелл и новые девушки из деревни, взятые вместо сбежавших. Нетронутым остался только камин, огромный, с закрашенным щитом над ним: я обходила его всю неделю, потому что не знала, можно ли его трогать. Теперь мне было всё равно. Мне нужно было, чтобы руки были чем-то заняты.

Я взяла ведро и тряпку и полезла на стремянку.

Серая краска лежала толсто, в несколько слоёв, поверх копоти. Её клали не раз, и каждый раз со злостью: кисть ходила по камню крест-накрест. Я тёрла копоть, вода в ведре чернела, и под тряпкой, под сажей и краской, пальцы вдруг нащупали то, чего глаза не видели. Камень под краской не был гладким. Он шёл бороздками — ровными, частыми, одна к одной, загибаясь книзу.

Я провела ладонью шире.

Перья. Длинные каменные перья, одно под другим, расходились веером от середины щита. Под серой краской, кото-

рую клали крест-накрест, было крыло.

Свеча на ступеньке стремянки вдруг съёжилась и посинела.

Я не стала оборачиваться сразу. Я уже знала, что это значит.

— Его закрашивали после каждой проверки Совета, — сказал он снизу.

Он стоял у подножия стремянки, в рубашке, без сюртука, с закатанными до локтя рукавами, будто тоже не мог уснуть и тоже искал, чем занять руки. Свеча светила на него снизу, и лицо от этого казалось резче и моложе. Руки от запястья до локтя были сильные, жилистые, и на них не было ни одного ожога. Почему-то я думала, что будут.

Я стояла на верхней ступеньке, и подол у меня был на уровне его лица. Я подобрала подол. Он отвёл глаза — на камин, на щит, — и мне это не понравилось больше, чем если бы он смотрел.

— Я не знала, что его нельзя трогать, милорд.

— Трогать можно. Краску положили по приказу Совета, и пока она на месте, никому нет дела, что под ней.

— Под ней крыло.

— Да.

Он не сказал чьё. Я не спросила. Я провела ладонью по каменным перьям ещё раз. Глазам их не было видно, только пальцам.

— Хейл говорит, вы у всех спрашиваете, чего они хотят,

— сказал он.

Я чуть не уронила тряпку в ведро.

— Хейл, — повторила я.

— Хейл. Он сказал, что вы спросили и его, а его об этом не спрашивали с тех пор, как он умер.

— Это помогает нанимать людей, милорд. Тот, кто получил, чего хочет, не сбежит через неделю.

— А вы? — спросил он. — Чего хотите вы?

В его голосе не было ни насмешки, ни любезности. Он спрашивал о деле.

— Чтобы бал состоялся, милорд.

— Это хочу я, — сказал он. — А вы?

Свеча у моих ног горела синим. Под ладонью было каменное крыло, а в кармане передника — ничего, даже чулка с медяками. Изольда предлагала мне комнату. Он спрашивал, чего я хочу.

Неделю назад я ответила бы сразу: дверь. Теперь своя дверь значила «уехать», и это слово не шло с языка.

— Не знаю, милорд, — сказала я. Это была правда.

Он помолчал, потом протянул мне руку — снизу, как подают руку даме, которая выходит из кареты.

Я посмотрела на свою: мокрая, красная, в саже по запястье. Прислуга не подаёт господам грязных рук. Я так и сказала бы, но он не опускал свою, и я спустилась на ступеньку и вложила пальцы ему в ладонь.

Ладонь была холодная. Вода на моих пальцах схватилась

тонкой ледяной коркой — между его кожей и моей, я почувствовала, как она хрустнула. Он не отпустил: держал, пока я не встала на пол, и ещё секунду после. Я стояла так близко, что видела, как у него на горле, в вырезе рубашки, бьётся та самая жилка, которую я видела на кухне. Быстро. Моё дыхание касалось его рубашки белым паром.

— Когда узнаете, скажите, — сказал он. — Это не входит в договор.

И ушёл в темноту без свечи: в своём доме он знал каждую ступеньку.

Я стояла у камина и тёрла пальцы, на которых таял лёд. Пальцы горели. С холода, сказала я себе, так бывает. Свеча на стремянке медленно пожелтела, а я всё стояла и держала одну руку в другой.

Глава девятая

Сайлас

Люстра в холле рухнула на две ладони и повисла.

Я вышел на галерею на звон и увидел её сверху: огромную, в сосульках вместо свечей, на скрипящей цепи. Внизу, у лебёдки, висели на рукояти Тоби и двое деревенских парней, красные, с вытаращенными глазами. Сосульки отрывались от люстры по одной и разбивались о плиты, как стаканы.

— Держите! — сказала она снизу. — Не отпускать. Мистер Хейл, клин.

Хейл вогнал клин под барабан лебёдки так, будто занимался этим каждый день. Цепь остановилась, и парни выдохнули.

— Теперь медленно, — сказала она, — по звену. Тоби, вы считаете вслух.

Тоби считал. Люстра пошла вниз ровно, по звену, и сосульки больше не падали: таяли. Я не сразу понял почему, а потом увидел окна.

Холл был светлый, но не весь: до половины, до той высоты, куда доставала стремянка. Нижние стёкла в высоких окнах отмыли, и иней, годами лежавший на них изнутри узором, как на окнах склепа, сошёл с отмытого стекла и пока не вернулся. Солнце лежало на полу косыми полосами, на плитах, которые оказались не серыми, а белыми с чёрным, как

доска. Я забыл, что они такие.

Пахло мокрым камнем, уксусом и чем-то печёным с кухни. Где-то хлопала дверь, Нелл кричала кому-то, что тряпки не для того, чтобы на них сидеть, а миссис Кроу гремела внизу.

Она стояла посреди холла, в переднике поверх старого платья, рукава закатаны, волосы подвязаны тряпкой, и командовала люстрой. Голос у неё был не громкий, его просто слушались.

Я стоял у перил и смотрел, как по моему холлу ходят живые люди, и не знал, что с этим делать. Неделю назад это был склеп с одной тропинкой следов. Теперь кто-то смеялся на лестнице для слуг.

Люстра встала на пол. Тоби отпустил рукоять, сел прямо на плиты и сказал «уф». Она засмеялась.

Я ни разу не слышал, как она смеётся. Коротко, низко, будто сама себе не разрешила и не успела запретить. Она откинула со лба прядь запястьем, потому что пальцы были мокрые, и подняла голову.

Увидела меня — и перестала.

— Милорд.

— Продолжайте, — сказал я и ушёл в библиотеку раньше, чем она успела присесть.

В библиотеке я сел за стол и некоторое время смотрел на письмо, которое не читал. Её смех стоял у меня в ушах, как звон тех сосулек.

* * *

Карета Торнбери въехала во двор в полдень: тёмно-зелёная, на высоких рессорах, с гербом Земли на дверце. Земля не любит, когда её не видно.

Я встретил его в холле, среди вёдер. Люстра лежала на расстеленной парусине, как выброшенная на берег медуза, и деревенские девушки отмывали её хрусталь, подвеска за подвеской.

Лорд Эмброуз Торнбери вошёл, снял шляпу и остановился.

Я знал его с тех пор, как остался один. Раз в квартал он выдавал мне содержание — когда сам, когда рукой секретаря, но всегда с одной и той же улыбкой. В Эшгрейв Торнбери не приезжал ни разу. Полный, мягкий, в бархате цвета мха, с перстнями на каждом пальце. Лицо у него было доброе, круглое, с ямочками, и он умел улыбаться так, что люди сами отдавали ему деньги и благодарили за честь. Над ним посмеивались только за одно: проигрывая в вист, Торнбери всегда улыбался, а вино в бокалах у всего стола начинало дрожать. Земля держит лицо, говорили в Сейнморе, но не держит посуду.

Сейчас он не улыбался, а смотрел на холл.

— Мне говорили, — сказал он, — что здесь склеп.

— Здесь был склеп.

— Да, — сказал Торнбери. — Вижу.

Он обвёл взглядом окна, люстру, девушек, Нелл на стре-

мянке, которая под его взглядом и не подумала слезть. Он видел то, чего неделю назад не было. Я видел это его глазами, и мне это понравилось.

За его плечом стоял молодой человек в тёмном, без перстней, высокий, широкий в плечах, с лицом, на котором ничего не было написано. Его я знал в лицо: Гидеон, внебрачный сын Торнбери, которого отец всюду возил за собой и никогда никому не представлял. Не представил и сейчас, а Гидеон этого и не ждал. Пока мы здоровались, он смотрел не на нас, а на пол — на плиты, на швы между ними, — а потом на стены, у самого основания, и наклонял голову, будто слушал камень.

— Гидеон, — сказал Торнбери, проследив мой взгляд. — Мой… помощник. Не обращайте внимания, милорд, он у меня молчаливый.

Гидеон снял перчатки. Торнбери тоже стал снимать свои, и тут из-за моей спины вышла она — уже без передника и без тряпки на волосах, но с мокрыми ещё запястьями — и приняла у него перчатки, шляпу и трость, как принимала их, наверное, всю жизнь в чужих прихожих. Глаза в пол, книксен.

Хейл, который шёл за перчатками от дверей, остановился и посмотрел на меня с упрёком, будто это я у него их отнял.

— Мисс Лисль, — сказал я. — Невеста.

— Ах, — сказал Торнбери и поклонился так низко, как кланяются банкиры, когда хотят показать, что не считают по-

клоны. — Та самая. Весь Сейнмор только о вас и говорит, мисс. Я, признаться, вас не узнал.

Он не узнал бы её ни в каком платье: для таких, как Торнбери, у прислуги нет лица. Я видел, как у неё на миг сжались пальцы на его трости.

— Чаю, милорд? — спросила она меня.

— Чаю, — сказал я.

* * *

В библиотеке он сел в кресло, где неделю назад сидела она, и откинулся так, что кресло скрипнуло.

— Вы разворошили болото, милорд, — сказал он, и в голосе у него было настоящее восхищение, вот что меня удивило. — Почти век в Совете ничего не происходило. Целый век! Мы с леди Изольдой и леди Мирандой сидели, как три старухи за вистом, и делили одни и те же гроши. А тут вы. Одним вальсом. Я, знаете ли, аплодировал.

— Вы голосовали за оговорку.

— Я голосовал за интересную игру. — Он развёл руками, и перстни поймали свет. — Признайтесь, милорд, вам тоже интересно.

Мне было интересно. Это и было хуже всего. Со мной годами разговаривали только мёртвые, и то о серебре. А этот человек сидел в моём кресле и говорил со мной, как с игроком за доской. Будто у меня есть фигуры.

— Вы теперь самый завидный жених Вальмера, — продолжал Торнбери. — Не для невест, для Совета. Снимут по-

каяние — и в Совете будет четвёртое кресло, ваше, а значит, впервые возможна ничья. Ничью по Конкорду разрешает король. Вы разбудили его право, милорд. Мальчик теперь на вас молится.

— А вы, лорд Торнбери? На кого молитесь вы?

— На тех, кто возвращает долги. — Он улыбнулся, и на щеках обозначились ямочки. — Их так мало, что я помню всех по именам.

Гидеон у окна присел на корточки и потрогал пальцем шов между плитами пола.

— Камень у вас старый, — сказал Торнбери, не оборачиваясь. — Гидеон интересуется. Под замком, знаете ли, старые рудники Огня. Земля их когда-то разрабатывала, по договору с вашим прадедом. Потом всё это… — он поискал слово, — сгорело. Но камень помнит.

Он сложил руки на животе, перстень к перстню.

— А вы знаете, милорд, почему ваш Дом восстал?

Этого я не ждал. О восстании говорили при мне: на балах, за спиной, тем тоном, каким говорят о покойнике, который много пил.

— Огонь сидел в Совете первым, — продолжал Торнбери. — Порты и рудники его, король ел у него с руки. Власти хоть отбавляй. Чего им не хватало?

— Конкорд отвечает на это в первой строке, — сказал я. — «Возгордившись сверх всякой меры, Дом Огня поднял оружие на Совет». Не хватало им смирения. Гордыни хвата-

ло.

— Конкорд писали победители.

— Вы внук одного из них.

— И горжусь, — легко сказал Торнбери. — Но я спрашивал не про Конкорд. Что думаете вы?

Я подумал об отце. Отец говорил со мной об этом один раз: я был ещё мал, и он стоял у этого самого окна, где теперь стоял Гидеон.

— Мой отец говорил, что правды не знает никто, — сказал я. — А кто скажет вам, что знает, тот что-то продаёт.

Торнбери рассмеялся, хорошо, от живота.

— Тогда я продам дёшево. Я банкир, милорд, и верю в одно: Великие Дома не падают за одну ночь. Они истончаются.

— Как ткань.

— Как кредит. — Он поднял палец с перстнем. — Снаружи всё на месте: гербы, балы, первое кресло. А внутри с каждым годом меньше должников и меньше страха. Влияние есть, пока в него верят. И однажды садишься над книгами и видишь, что ещё пять лет — и увидят все.

— И тогда?

— Тогда остаётся одно из двух: признаться. Или перевернуть доску, пока на ней ещё стоят твои фигуры.

— И мои перевернули.

— Не вовремя, — сказал Торнбери.

Он сказал это с сожалением, как говорят о хорошей лошади, которую загнали на последней миле.

— Вы говорите как человек, который видел их счета.

— Видел. — Он не моргнул. — Счёт Огня у нас с тех времён. Его вёл мой дед, потом отец, теперь я. Земля помнит всё, милорд. И всё держит.

— Власть, которую держат за других, — сказал я, — назад обычно не отдают.

— Власть вообще никто не отдаёт сам. — Торнбери улыбнулся мне, как улыбаются способному ученику, который сказал глупость. — Её теряют или забирают, третьего не бывает. Сорок лет смотрю — не бывает.

Дверь открылась. Она внесла поднос.

Я ждал Тоби: подносы теперь носил он. А она внесла поднос сама, как вносила, наверное, всю жизнь, поставила на край стола, не звякнув ни одной чашкой, и разлила. Потом отошла к буфету и встала, сложив руки, — так стоят горничные, которые ждут, не понадобится ли долить. Торнбери принял чашку из её рук, не глядя. Её в комнате не было.

— Я и ваше держу, — сказал он и подул на чай. — Кстати, вы знали, что этот замок был застрахован у нас?

Я не знал: мне было пятнадцать, и бумаги о той ночи подписывали без меня.

— Ваш отец платил исправно, двадцать лет. А выплаты так и не было: страхование не покрывает пожар от собственного огня хозяев. Таково было заключение. — Он отпил. — Я подписывал его сам, милорд. Тяжёлый был день.

Он сказал это мягко, с сочувствием.

От собственного огня хозяев. В заключении не было ни масла под лестницей, ни женщины с синей печатью. Была подпись Земли под тем, что шепчут на кухнях Сейнмора: мальчишка сжёг их сам. Я не знал, что это где-то записано, что оно лежит в чьём-то шкафу, с печатью и номером, подшитое к моему счёту.

Огонь за рёбрами поднялся разом, весь, до самого горла. Я держал. Я держал так, что свело челюсть, и холод пошёл из меня в комнату, потому что больше ему идти было некуда. На стекле окна, у которого стоял Гидеон, распустился иней, лист за листом. Чай в моей чашке подёрнулся льдом. В чашке Торнбери тоже.

Торнбери посмотрел в свою чашку с вежливым интересом.

Гидеон не посмотрел ни на него, ни на меня. Он смотрел на иней на стекле, внимательно, как смотрят на стрелку прибора. Теперь я, кажется, знал, зачем Торнбери привёз его в мой дом.

Я положил руки на стол ладонями вниз. Ладони были ледяные. Только бы они не стали горячими.

Краем глаза я видел её у буфета. Она смотрела на мои руки.

— Но это прошлое, — сказал Торнбери и отставил чашку со льдом. — Поговорим о будущем. Бал стоит денег. Хрусталь отмыть можно, но свечи уксусом не отмоешь, а я знаю, сколько выдаю вам на жизнь: на бал не хватит. Земля готова

помочь: заём под ваше состояние, на любую сумму, под самый скромный процент. Вернёте, когда покаяние снимут.

— Если снимут.

— Когда, — мягко сказал Торнбери. — Я в вас верю. А не снимут — что ж, Земля потеряет. Мы можем себе это позволить. — Он развёл руками. — Ваше состояние, милорд, лежит в хранилище целёхонько, до последней монеты. Я сам за ним смотрю. Оно ждёт вас.

У буфета она коротко вдохнула. Я услышал этот вдох раньше, чем слова.

— Он врёт, — сказала она.

Тихо, не мне, не ему — в пол. И тут же стала белой, как скатерть, и я увидел, как у неё дрогнули руки, которые не дрожали, когда она держала люстру.

Торнбери повернулся к ней медленно, всем телом, как поворачивается тяжёлый корабль. Он смотрел на неё и, кажется, впервые видел, что у руки, наливавшей ему чай, есть лицо.

— Прошу прощения, — сказал он. — Что вы сказали, мисс?

У меня было мгновение.

Я не знал, откуда она это взяла. Я не знал, кто она: шпионка Изольды, испуганная горничная или что-то третье, чему у меня не было названия. Я знал Торнбери и знал, что Земля никогда не предлагает денег, пока ей самой что-то не нужно. И ещё я знал, что если сейчас промолчу, она так и

будет стоять у буфета, белая, перед человеком, для которого она мебель, — одна.

Огонь за рёбрами, который миг назад рвался наружу, вдруг притих. Мне стало не до него.

— Мисс Лисль сказала, что вы лжёте, милорд, — сказал я. — Я с ней согласен.

Торнбери засмеялся, хорошо засмеялся, тепло, но на полтона выше, чем смеялся до этого.

— Милорд. Мисс подавала чай в доме Изольды, и мне говорили, у неё недурно получалось. Но в банковском деле…

— Сколько дней, — сказал я, — вам понадобится, чтобы выдать мне всё, если на рассвете после бала покаяние снимут? Всё, до последней монеты, которая лежит у вас целёхонька.

— Три дня, — сказал Торнбери.

Сразу, гладко, с цифрой наготове: так он отвечал на любой вопрос о деньгах.

— По обычаю банка, милорд. День на счёт, день на перевозку, день на ваши расписки. Если угодно, я пришлю вам это письменно, с печатью.

Ответ был хороший, ответ человека, которому нечего прятать. Я почти поверил ему — и тогда услышал тихий звук, будто лопнула нитка.

Лёд на его чае треснул тонкой сеткой, от края к середине. Потом в моей чашке, потом в третьей, нетронутой, на подносе. Под трещинами чай мелко дрожал, как дрожит вода в

стакане, когда по мостовой едет тяжёлая телега.

Лицо у Торнбери было безупречное. Посуда — нет.

Доказательством это не было: трещина во льду, только и всего. Но если она права — если моих денег нет в хранилище и давно нет, — то три дня ему не помогут. И годы не помогут.

— Три дня, — сказал я. — Я запомню, лорд Торнбери.

Он отодвинул чашку и посмотрел на мисс Лисль, как смотрят на фигуру, которую проглядели на доске.

— Вода, — сказал он, — прислала вам не служанку, милорд.

Она стояла у буфета и смотрела ему в лицо. Прямо. Я смотрел на неё сбоку.

Торнбери поднялся. Гидеон отошёл от окна, будто давно знал, что разговор кончится сейчас.

— Подумайте о займе, милорд, — сказал Торнбери уже в дверях, и голос у него снова стал тёплым, как остывающий чай. — Не торопитесь. Старые замки так хрупки. Один раз этот уже сгорел.

В комнате запахло дымом. Не было никакого дыма: камин стоял пустой и чёрный. Но я почувствовал его, горький, у самого горла, и лестницу под ногами, и жар в спину. Огонь за рёбрами рванулся, и я держал его, пока Торнбери улыбался мне в дверях.

Я встал.

— Подумайте и вы, лорд Торнбери. О том, как Земля будет возвращать деньги моему Дому.

«Моему Дому» Торнбери услышал так же, как я сам: не как имя с надгробия, а как требование.

Он поклонился и вышел. Гидеон пошёл за ним, и уже в коридоре, проходя мимо стены, на ходу положил на неё ладонь. Просто положил и пошёл дальше.

* * *

Карета Земли выехала за ворота. Я стоял у окна библиотеки и смотрел, как она катится вниз по холму. Внутри у меня было то, чего я не помнил с той ночи: я выиграл ход. Не партию, ход. Но выиграл.

Она собирала чашки на поднос. Руки у неё уже не дрожали.

— Мисс Лисль.

— Милорд.

— Откуда вы знали?

Она взяла поднос, подумала и поставила обратно.

— Перчатки, милорд. На дворе мороз, а у него перчатки внутри мокрые насквозь. Я десять лет сушила чужие перчатки. Так потеют, когда боятся, — он боялся ещё в карете, до того как вошёл. А говорил о деньгах спокойно и щедро. — Она подняла на меня глаза. — Щедрые так не потеют.

— Вы держали его перчатки минуту.

— Перчатки — это чтобы вы мне поверили, милорд. — Она помолчала. — Я и без них знала. Когда он сказал «до последней монеты», у него на висках выступило. Я не видела, я это чувствую, как сырой шёлк в закрытом сундуке. Шагов

с пяти, а если коснуться — ещё вернее. Люди врут кожей раньше, чем ртом.

Дар для прислуги, сказали бы про него у Лислей: сырые простыни, кислое вино. Селестина держала у себя за спиной женщину, которая на расстоянии слышит, когда лгут, и ни разу не спросила, что ещё та умеет.

— Вы так слышите всех? — спросил я.

— Почти. Не всех Лислей: сильная Вода держит свою воду при себе, когда хочет. Изольду я не прочла ни разу. — Она посмотрела на мои руки. — И не вас. У вас кожа сухая. Всегда. Рядом с вами сохнет всё, даже чернила.

— Значит, мне вы верить не можете.

— Значит, правду вам придётся говорить самому, милорд.

Я молчал. Я сидел с Торнбери в одной комнате полчаса и смотрел ему в лицо, а она один раз подержала его перчатки. В Совете три кресла, и в каждом кто-нибудь лжёт. А у меня у буфета стояла женщина, которая это слышит.

— Вы могли бы и сами заметить, милорд, — сказала она, — что он потеет. Он же сидел у вас прямо под носом.

— Я заметил, что у него дрожит чай.

— Когда он уже соврал, — сказала она. — Я заметила раньше.

Это было сказано с тем же лицом, с каким неделю назад она сказала про свою первую ошибку. Только тогда она отвоёвывала пункт договора. Теперь она меня дразнила.

И я засмеялся.

Не так, как в первый раз, — тогда это вырвалось и испугало меня самого. Теперь я смеялся, откинув голову, громко, потому что было смешно: последний Эшгрейв, который ночами читал Конкорд, обыгран горничной на перчатках. Смех шёл из груди, и мне было всё равно, кто его слышит.

В дверях что-то грохнуло.

Хейл стоял на пороге над подносом, который выронил, — серебряным, с кофейником, первым серебром, которое достали из кладовой. Кофейник катился по полу, звеня крышкой. Хейл смотрел на меня так, как, наверное, смотрел бы на мою мать, если бы она вошла.

С тех пор как умер, он ни разу ничего не ронял.

— Прошу прощения, милорд, — сказал Хейл. Голос у него был чужой. — Рука подвела.

Он поднял кофейник и ушёл. И через четверть часа, я уверен, весь дом знал, что хозяин смеётся.

* * *

Книгу, где у неё были расписаны дрова, я нашёл вечером на столе в людской, где она вела счета. Я пришёл туда, потому что не мог работать. И потому, что хотел посмотреть на её почерк.

Он был мелкий, прямой, без завитушек: почерк человека, которому всю жизнь не хватало бумаги. Строка за строкой: «Кухня», «Людская», «Комнаты прислуги», «Гостиная леди Пруденс», «Комната новых девушек из деревни». И последняя: «Голубая комната — по остатку».

Эту строку я помнил: неделю назад я её подписал, и мне не пришло в голову, что остатка может не быть. Напротив неё, в графе «выдано», стоял прочерк. Остатка не было: она отдала его девушкам из деревни.

Я стоял над книгой и думал о том, что весь день она командовала в моём холле с голыми по локоть руками в ледяной воде. Что пальцы у неё на подносе были белые на костяшках, и я принял это за страх перед Торнбери. Что в её комнате неделю никто не разводил огня.

В моём доме много лет никто не разводил огня. Я сам так решил: мёртвые не могут, а я не хотел. Я не зажигал свечи, не грел рук, не подходил к каминам. Огонь, который живёт во мне, сидел за решёткой рёбер с той ночи, и я держал его там днём и ночью, потому что однажды он уже вышел. Запах дыма на рассвете в кухне чуть не поставил меня на колени.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.